

Ну-ка, встаньте передо мной, из бывшего шагнув сюда, в новый век, в коктебельский, давний, от ненастья спасённый рай, в дом, где живя памятью, волей и работой, друзья мои, появись, один за другим, чередой, вы, молодые, вы, отважные, вы, хмельные от избытка сил, от восторга перед жизнью, открытой вам, перед речью, перед рывком в неизбежность, вперёд, к тому, что звало вас и что вело по дорогам земным туманным, по небесным просторам странным, встаньте рядом, в глаза взгляните, протяните в пространстве нити сквозь нелёгкие времена, чтобы в мире цвела весна, будьте снова собою, друзья, чтобы нынче во всей округе разливался блаженный свет, из далёких пришедший лет.

Кто это? Кто? Неужели он? Действительно, он.

Умер? Давно отпели? Может быть, это сон?

Лучший из атаманов.

Истовый. Грозовой.

В юных стихах – живой.

Конечно, Лёня Губанов.

Глаза – пронзительно-серые, с голубизной, с жемчужным отсветом, дерзкие, детские, плачущие, с прищуром. Чёрные, в бездну глядящие, увеличенные зрачки. Чёлка – неровно подстрижена. Ворот рубахи – растёгнут. Рот скомороха – большой, вырезанный упрямо, ещё немного – и станет греческой маской актёрской, скорбной. Губы припухшие стиснуты крепко. Лоб – в лёгком поту. На шее – крестик. Руки взлетают вверх – и падают вниз. Длинные, гибкие пальцы. Широкие плечи. Ростом невысок, но стоек и крепок. Инок? Или разбойник? Хулиганистый парень московский? Мученик? Или мучитель? Вестник с письмом со звёзд? Никто не ответит на эти вопросы. Никто. Никогда. И он не ответит. Будет молчать. Или вдруг засмеётся. Или станет стихи читать. Свои, разумеется. Прежние? Или новые? Всё равно. Лишь бы речь клочкотала в них. Лишь бы голос его звенел, причитающий, с ворожбою, со слезою хрустальной чистой, с колокольным пасхальным звоном, возвышающий и крушащий всё вокруг на пути своём, лебединый, непобедимый, журавлиный, неукротимый, голос-песня и голос-плач, голос-жертва, голос-палач, голос имени, голос жизни, голос веры по всей отчизне, голос нежности и любви, голос-яд, холодок в крови, голос-мёд, леденец, снежок, голос-обморок, морок, шок, голос-ветер, метель, буран, голос радости, голос ран, человеческий голос. Глас. Голос – логос. Тогда. Сейчас. Голос города. Всех земель на Руси. Да и всех Емель. Не из сказки – из яви? Да. Над бесчасьем – в ночи звезда.

Будто ветер повеял. Откуда? Из Парижа? Из Переделкина? Заграничный? Или российский? Ветер молодости. И с ним появился вдруг, улыбаясь, тот, из прежней эпохи, Юра Кублановский. Присел на стул, ногу сразу поджав под себя, закурил. А потом и выпил полстакана вина сухого. Подобрел. Стал почти домашним. Путешественник. Он – с дороги. По России привычно ездил. А теперь он – в Москве. Пришёл навестить меня. Говорит об увиденном. Нос его, искривлённый слегка, смешной, вроде компасной стрелки, всюду, где бы ни был он, устремлён неизменно, всегда, на север. Там – Архангельск и Соловки. А на западе – граница. Он уедет туда – потом. А сейчас – он живёт, как птица перелётная. Нынче – здесь, завтра – там. И поди гадай, где искать его, где он будет обитать. Как птичье крыло, нависает волна волос, густо, наискось, вниз, на лоб. Искры вспыхивают в глазах. Он стихи читает – из новых циклов. Голос его звучит в тишине квартиры случайной. Он встаёт: «Старичок, пора!» Он уходит. Куда? Кто знает! Может – к новой подруге. Может – в храм. А может быть – в те края, до которых добраться сложно. В завихренье снега. В туман. В дождь. Куда-то туда, где есть кров, еда, питьё и тепло. Что-то с ним – навсегда ушло. Как и сам он – из дружбы давней. Пусть живёт, как привык. Ему изменяться – уже ни к чему. Где-то там, далеко отсюда, обретёт он подобье чуда – в виде жизненных благ. Удачи, что-то, видимо, всё же знача, достижимые там и тут, чередою сплошной пойдут. Будет он дневники вести. Будет крепко сжимать в горсти нить, ведущую в даль, где есть из бывшего благая весть.

Это кто? Аркаша Пахомов. Богатырь, да и только. Взгляд исподлобья. Коротко стрижен, по привычке. Высок. Плечист. Под хмельком, как всегда. Артист! Вдохновенье – всегда при нём. Он играет шутя с огнём. Водку пьёт – за троих. Смешлив. И – застенчив. И весь – порыв. Но – куда? В неизвестность? Нет. В неизбежный, зовущий свет. Едет – в нужный, конечно, срок. То на север, то на восток. То на запад, а то и на юг. Ин-

тересов – широкий круг. Увлечений – хоть отбавляй. И энергия – через край плещет. Голос его звучит. Есть ирония – словно щит. Юмор есть. И талант. Поэт. Есть и путь – сквозь кошмар и бред. Есть подруги. И есть друзья. Есть остратка: туда – нельзя. Есть смекалка: туда – скорей. Он выходит из всех дверей. У любого стоит окна. Обретенная седина – словно снег. Борода. Встаёт – в рост – над всем, что ведёт вперёд. Вдосталь в мире крутых дорог. Он общителен. Одинок в зрелых, трудных своих годах. Он – в привычных своих трудах. Подработать. И – выпить. Ночь в одиночестве превозмочь. И – с болезнями в бой идти. Из упрямства себя вести, как ни в чём не бывало. Дар – мог спасти. Но бросало в жар, в холод, в месиво кутерьмы. Ждал весны – посреди зимы. Умер, страшно устав, весной. Посреди красоты земной. И глаза его – не открыть. Спит. Стихи его – будут жить.

У кого это, узколищего, чуб на лоб и затылок стриженный, вид геройский и чуть обиженный, напряжённый и зоркий взгляд? Смотрит – в даль. Иногда сутулится. Быстрым шагом идёт по улице. Говорит – о своём. Из этого – возникает гудящий лад. Как пчела над цветком, над словом он головою своей склоняется. На кого-то – порой равняется. И кому-то – отпор даёт. Улыбается. Замыкается вдруг в себе. И ни в чём не кается. Неожиданно вырывается в глубь пространства. И там – поёт. Это кто? Ну конечно, Саша Соколов. Пролетит сквозь время ветерком. И другие страны будут вскоре ему желанны. А свою – он оставит. Что ж! Видно, так ему надо было поступить, если всё не мило в ней, и слишком его знобило там, где к таинствам мог быть вхож. Заносило его куда-то в глухомань, в Канаду и в Штаты, в те края, что теплом богаты, или в северные снега. Был отшельником и скитальцем, чьим-то временным постояльцем, собеседником вдохновенным – иногда. И опять – в бега. География всей планеты открывала ему приметы речи брезжущей, чьи секреты – в ритмах долгих земных дорог. Помнил молодость. О грядущем размышлял. Был всегда – идущим. Или – едущим. Чуда ждушим. Создал исподволь – всё, что смог. Стал – седым. Приезжал в Россию. В Крым. Таился. И – появлялся, неожиданно для знакомых, рядом, вроде бы – на виду. Исчезал – незаметно. Разом. Повинуясь судьбы приказам. Без пристрастия к прощальным фразам. И – без писем, хоть раз в году. Фантастическое уменье – продевать сквозь иглу мгновенья жизни, словно, в надежде пеня, по старинке продлитесь рвенье, с нитью, сжатой с утра в руке, к новизне, что зовёт упрямо отовсюду к себе. Что драмы! Вновь оконные настезь рамы. Дверь захлопнуть. Держаться прямо. В путь! Надолго. И – налегке.

Жар таманского лета. Зной коктебельский. Московский холод. Кто там рядом стоит со мной, молчалив, и высок, и молод? Кто сегодня ковыльно-сед, и усат, и спокоен вроде, словно не было прежних бед и порывов былых к свободе? Кто свободу свою обрёл в книгах, созданных им? Кто светел, точно к цели своей пришёл и звезду над собой приветил? Кто задумчив и озарён всем, пришедшим нежданно, свыше? Кто горением одарён? Ну конечно, Михалик, Миша Соколов. Драгоценный друг. И – соратник. Достойный. Верный. Он спокойно глядит вокруг. Взгляд – всё пристальней. Достоверный смысл находит он в том, что есть и в искусстве, и в жизни. Знаю, дорога ему нынче весть от меня. И юдоль земная лишь сроднила нас навсегда, сберегая для высшей доли, – и ушла, как вода, беда, вместе с грузом разбухшей соли, вдаль, в минувшее, в дни, где мы постигали приметы мира, в завихрения злой зимы,

в ночь, где слишком бывало сыро то от ливней, а то от слёз, то от мыслей о том, что встретим впереди. Было всё – всерьёз. Всё узнаем – и всё заметим. Всё сумеем пройти. Чтоб – жить. Чтоб дышать. Чтоб работать много. Чтоб сказать: хорошо – дружить! Дружба – редкостный дар. От Бога.

Будто снова раздался звонок в дверь. А может – звонок телефонный, то ли утром, то ли, что чаще, многократно бывало, днём, то ли вечером, то ли ночью, – да не всё ли равно сейчас? Кто там? Кто? Открываю дверь. Или быстрым рывком снимаю телефонную трубку. Кто? Ну конечно же, Коля Мишин. Это он. Человек-театр. Человек небывалый. Славный. С авантюрной врождённой жилкой. Фантазёр. Драматург. Поэт. Путешественник. Весельчак. Житель Климовска – и других городов. Книголюб. Издатель. Николай Лукьянович Мишин. Улыбается широко. Ходит быстро. Идей – навалом. На ходу сочиняет что-то, между делом. Одет, как лорд. После нищего детства – надо в жизни всё наверстать. Глаза блещут искрой лукавой. Смотрит на меня. Говорит. О чём? Обо всём. О своём. И – нашем. О заветном. И – о былом. Вдохновенный. И – оживлённый. Вздурораженный даже. Чем? Чем-нибудь. Да кто его знает, что у Мишина на уме, что придумает, что расскажет, что решит предпринять. Герой. Приключений – не счесть. Лицо – покруглее луны. Бородку отрастил. Галстук сдвинут вбок. Закурил. Посмотрел в окошко. Стал солидней с виду. Но полон он мальчишеским озорством. Сколько с ним бывало историй фантастических – и реальных! В нём энергия жизни била, год за годом, ключом. Он весь был в страстях своих. К новым дамам он тянулся. Он рвался в бой. Он всегда был самим собой. А теперь – его нет на свете. Может, есть? Может, всё же – есть? Кто за гибель друзей в ответе? Коля Мишин. Как встарь, зови – то в поездку, то в гости к сказке. Хочешь – в книгах моих живи. Постояв средь вагонной тряски, приезжай незаметно в рай. Там небось хорошо. Привольно. Роль свою – до конца играй. Будет весело – хоть и больно.

Подумать ведь только – сам пришёл! Постоял. Взглянул куда-то вперёд. В грядущее? Пожалуй. И ожила в нём блаженная, тихая музыка, для которой не надо слов – или надо их мало. С речью дружен он. Бережлив. Слова – смыслом вещим наполнены. Смотрит кротким, добрым взглядом на всех. Седина – белизна сплошная, снег, ковыль. Невысок и лёгок. От невзгод житейских устал. Много пишет. Стихи и проза – удивительны. И трактат знаменитый – о небытии – озадачивает учёных в разных странах. Арсений Чанышев. Гость нежданный. Философ. Друг старший мой. Умнейший. Арсений Николаевич. Князь татарский он по линии материнской, а отец – иерарх церковный, что погиб в лагерях, в тридцатых. Вот судьба! Выживать. Стерпеть вдосталь зол. Стать смиренней, строже к самому себе. Воспитать благодарных учеников. Быть – как все? Не таким, как все. Быть – провидцем и летописцем. Очевидцем времён лихих. Собеседником звёзд, людей, птиц, лесов, полей и небес. Горожанином быть – и жить в сердцевине родной природы. Быть хранителем той свободы, что по нраву душе всегда. Чередою прошли года. Где Арсений? Умер? Нет, жив. Ныне, книги его раскрыв, говорю с ним, как встарь. Вот – весть от него. Речь – жива. Он – есть.

Нет, не хочу сейчас говорить о друзьях по СМОГУ. Не время. Да и не место. Сами они придут в книгу мою – потом. Сами они напомнят о себе. Достаточно света в мире скорбей и гроз.

Над минувшим – скопление гроз.
Надо мною – Чумацкий Воз.
В небесах. Семь высоких звёзд.
Преодо мною – воздушный мост.
Что ж, пойду. Ведь найду я – суть.
И эпохи своей. И жизни.
И событий – в своей отчизне.
Над грядущим – вселенский путь...

И всё же... Да что это, право, такое?
Нет мне от времени СМОГа покоя.
Ждёт, чтоб сказать о нём сызнова – смог.
Значит, придётся. Свидетелем – Бог.

Что сказать, если столько сказано в предыдущих книгах моих, в книгах изданных и неизданных, да и в тех, что ещё в работе?

Что мне нынче вам говорить?
Что мне делать сейчас? Как быть?
Нет ведь прошлого и в помине.
Или – есть? Не ушло никуда?
Вижу: в небе горит звезда.

Здесь, пожалуй, нужен Феллини.
Выручавший меня с давних пор.
Появляется он, режиссёр.
Не даёт никаких советов.
Говорит:
– Галерея портретов.
Да, портретов. Твоих друзей.
В этой книге – создай музей.
Свой. Особый. Средствами речи.
Ты сумеешь. Действуй, собрат!
До свиданья. Встрече я рад.

И тогда – запылали свечи.
Засияли – здесь и везде.
И Феллини – ушёл. Сквозь время.
Сквозь горенье в моей поэме.
Улетел – к высокой звезде.

Спохватившись, ему вослед я сказал: «Но ведь в этой книге – есть портреты друзей. Немногих. Неужели их недостаточно?»

Оглянувшись, Феллини с улыбкой сделал жесты – влево и вправо. Мол, пусть раньше в книге – портреты. Ну а позже – тоже портреты.

Помахал мне рукой. Завернулся в звёздный плащ. Словно маг и волшебник. Или фокусник. Или творец небывалых, новых миров. И ладонями, появившимися незаметно из-под плаща, выразительно, артистично сделал плавные, странные знаки.

И тогда рядом с ним появилась – вся в сиянье – Джульетта Мазина, с грустной, доброй, светлой улыбкой, со своею трубой серебряной. Джельсомина из фильма «Дорога»? Или ангел? Трубу серебряную вдруг прижала она к губам – и раздался призывный звук. За которым пришло

неясное, нарастающее звучание – отовсюду, с земли и с небес. Посулившее вдосталь чудес.

И растаяли в небе супруги.

Звон раздался по всей округе.
И рокочущий, мерный гул.
Вот и в зеркале явь отразилась.
И в него я и сам заглянул.
Сердце сразу сильнее забилося.
Волшебство? Желанный ответ.
На вопросы. Голос и свет.

И тогда – различил я музыку. И звучала она повсюду в мире этом, таком трагичном и прекрасном, куда ни взгляни.

И вела меня эта музыка за собою – и с нею было мне так светло на душе – и сызнава стали явью былые дни.

Закружились огней рои.
Темнота исчезла ночная.
Новый век. И – юдоль земная.
Где вы, где вы, друзья мои?
Те, кого считал я друзьями.
Те, кто дружбе верны поднесь.
Приходите. Все вместе. Сами.
И останьтесь надолго – здесь.

И они появились. Встали предо мною. Лица их, давние и теперешние, и глаза их, вижу вновь я. Пристально вглядываюсь. Различаю черты знакомые. Голоса их слышу – из прошлого, настоящего и грядущего. Память высветлила слова. По чутью, по наитью, строится лад звучащий – и здесь освоится, – ведь, в извечном единстве с музыкой, речь жива – и всегда права.

У того, кто знал свой удел, взгляд был ясен и голос смел. Был храним он своей звездой. Как во сне, стоял над бедой. Явью, прочно вошедшей в речь, был ведом по дорогам встреч и прощаний. Запретов нет в дни невзгод для живого слова, потому что спасти любого слово может, оно готово приходить всем на помощь снова, быть предвестьем такого зова, что приметы земного крова станут звёздам родней родного. Величанский Саша. Поэт. Худ. И жилист. Сутул немного. Стоек. Дар у него – от Бога. Пил – как все. Да побольше многих. Не держался он правил строгих в жизни бурной. А верным – был. Честен был. И друзей любил. Написал всё, что был обязан написать. Был духовно связан с миром всем. Со злом – на ножах был он. Числился в сторожах. Переводчиком был. В кино поработал. В его окно луч свободы врывался вдруг, чтобы зорче смотрел вокруг, чтобы резче строки легли, от увиденного вдали, на бумагу, на чистый лист, в дни, где воздух был сыр и мглист. Величаем его теперь. Многовато у нас потерь. Сплошь – зияния. Рвётся нить. Больше некому позвонить. Смотрит Саша из-под земли на живущих: а вы – смогли? Он-то смог состояться. Свет пусть приходит из прежних лет в новый век. До сиянья – шаг. Белый снег, словно белый стяг. Алой кровью отмечен путь всех, идущих туда, где суть жаждут сызнава отыскать. Будет время волной плескаться в берега, где стоим порой, где редеет неровный строй легендарной богемы. Что ж! Каждый был в те чер-

тоги вхож, где до чуда рукой подать. Неизбежность и благодать были рядом – и вместе им быть в грядущем под небом сим. Ветер крепнет. Куда нам плыть? Песням – длиться. Легендам – жить.

Петя Шушпанов. Цыганистый, с тонкой костью, поджарый, худой. Независимый. Гордый. С характером. Образованный. Даже очень. И отменно талантливый. Пил. Запивал, бывало, по-чёрному. На карьеру – махнул рукой. Кем он только и где он только не работал и где не бывал! Помотало его по свету. Жил в Москве. А потом – в Ленинграде. А потом, уж так получилось, жил он в разных местах страны, но подолгу нигде не задерживался. Возвратился в Москву. И стал обитать в столице. Ведь был коренным москвичом. Знал свой город, как никто. Выходил на прогулки после долгой, упорной работы. Был поэтом крупным. Прозаиком первоклассным. Хорошим историком. Был надёжным, верным товарищем. И – соратником. Он годами, одержимо, работал над текстами. Написал он – действительно много. Но его почему-то долго, как нарочно, не издавали. Проявлял он выдержку. Ждал, как и все мы, лучших времён. Понемногу начал печататься в периодике. Вышли и книги. С запозданием, разумеется, преизрядным. Но всё-таки – вышли. Стал хворать он. Упрямо держался. Запивал – и опять работал. Постарел. Как-то ссохся, сжался. Только нос вперёд выдавался на лице его измождённом да сверкали огнём, который погасить невозможно, глаза. Помогал я ему, как мог, с публикациями. Никто больше Пете не помогал из приятелей и знакомых. Иногда я виделся с ним. Петя стоек был и вынослив – но сказалось всё напряжение сумасшедших минувших лет на здоровье его. Лишь голос был таким же, как в молодые, золотые года его. Умер Петя. Его жена еле выжила – так страдала. И однажды, Восьмого марта, через год после Петиной смерти, вдруг раздался звонок его телефона мобильного, долго, целый год доселе молчавшего. Что за мистика? Стала жена, нет, вернее сказать – вдова, разбирать его вещи, одежду. И нашла – восемьсот рублей, приготовленных ей на подарок, пусть и скромный, к Восьмому марта, по традиции, год назад. Он напомнил ей, позвонив неизвестно откуда, об этом. То-то дружен был с белым светом, жизнь любил. Значит, Петя – жив.

Леонард Данильцев. Поэт и прозаик. Актёр. Художник. Человек талантливый, умный. И в богеме – незаменимый. Он родился и вырос в Питере. Ну а после войны семья его оказалась в Москве. Учился. А потом какое-то время поработал на Сахалине, далеко от столицы, в театре. Возвратился в Москву. Стал работать художником-оформителем в Ленинской библиотеке. Проработал он здесь – до пенсии. Обаятельный, тощий, высокий, с характерным шляхетским носом, с острым взглядом светящихся глаз, появлялся он в мастерских и в квартирах друзей и знакомых. И всегда – был душой всех компаний. Он писал отличную прозу. И стихи, авангардные, смелые, с чистой речью, с лицом своим и своим, таким узнаваемым, хорошо поставленным голосом. Знал прекрасно музыку. Знал основательно литературу. И, конечно, живопись знал. Был достаточно образован. Публикаций в отечестве – не было. Иногда появлялось что-то в заграничных изданиях. Он, как и все мы, известен был – в самиздате. И этого было предостаточно, чтобы люди знали тексты его. Мы дружили. Был он старшим другом моим. Приходил на помощь всегда. Помогал мне. И я ему тоже помогал. Круговая порука в годы прежние, непростые, золотые, была у нас обязательной

и всеобщей. Он писал всё новые вещи. Выпивал. Запивал, бывало, и подолгу. Потом – не пил. Незаметно – вышел на пенсию. Постарел. Стал хворать. Держался. Занимался всё чаще живописью. Реже стал появляться в компаниях. Замыкался в себе. Трудился. Время вдруг изменилось. К лучшему? Непонятно было. Но книги стали те выходить, которые невозможно было издать раньше. Книгу стихов помог ему я издать. Очень сильную книгу. Был он рад ей. Пошли болезни чередой. Он боролся с ними. Приезжал ко мне в Коктебель, отдохнуть от Москвы, поработать, сил набраться новых, зимой. Прожил он недолго ещё. Умер. Горькой была утрата. Друг, собрат, соратник – ушёл. Но куда? В какие края? Здесь он, рядом, – в том, что он создал. Долговечны его творения. Всем живущим – навек – дарение. Вне забвенья и забытья.

Это кто, высоченный, длинный, в пиджаке, замызганном красками, в старых брюках, рваных ботинках и в пальто не по росту, коротком, с искривлённым забавным носом, из кашне торчащим, с глазами, устремлёнными не на то, что вокруг него, рядом, близко, не на явь отнюдь, а в грядущее, где приют обретёт он вечный, да и должное понимание, да и славу, конечно? Игорь Ворошилов. Художник великий. И поэт, настоящий, крупный. И мыслитель. И друг мой давний. Он шагает сквозь времена, как всегда, широко, размашисто, чуть сутулясь. Идёт – в сияние. Из невзгод, из нелёгких лет одиночества и печали, где спасался он лишь работой, сберегая от бед бессчётных свой светлейший, им созданный мир, он идёт напрямиком в блаженный, впереди обещанный рай. Или – в тихий уральский край, где любовь его ждёт. Он смел. Несмотря на мученья – цел. Несмотря на утраты – полон светлых, разом нахлынувших сил. Говорить ли о нём – он был, жил, работал, страдал, бродил от приюта и до приюта, ночевал, где придётся, пил, попадал в ментовки, в дурдоме выживал, вопреки всему, был воителем, только так, по казачьей своей природе, рвался к свету, к воле, к свободе, к озарениям, к лучшим дням, где не будет ни прежних драм, ни трагедий, где радость ждёт, наконец, его? Он идёт, как и прежде, вперёд. Когда умер он, то жене приснился. Та спросила его: «Ну как ты?» И ответил он ей: «Борюсь!» В этом – весь он. Он – здесь. Он – есть. В том, что создал. В легендах. В чуде, сотворённом им. В том, что люди называют – благая весть. В том, что жить помогает им. В том, что дар его был – от Бога. В том, что ныне светла дорога, на которой он Им храним.

Юра Каминский. Поэт. Бронзоволицый, худой. Невысокий, но крепкий. Друг мой с юных лет моих. Был он старше лет на восемь. Жил в Кривом Роге. Никуда не хотел уезжать. На Чукотке служил он в армии. Был единственный раз в Средней Азии. И в Москве. В Коктебеле бывал дважды – в давних шестидесятих и в начале псевдосвободных как-бывременных девяностых. Вот и всё, пожалуй. Хватило путешествий таких ему. В доме старом он обитал, за которым был двор, просторный, весь наружу, типично южный. Был – мечтателем. И романтиком. И отчаянным фантазёром. Книгочеем был он заядлым. Гору книг прочитал. Писал постоянно стихи. Поэтом был, конечно же, настоящим. Он печатался иногда – среди безвременья. Был упорным. Ждал с надеждой – лучших времён. Твёрдо верил в своё призвание. Выходил погулять в одиночестве вдоль реки, по знакомым с детства сплошь зелёным улицам, паркам, загорелый, кудрявый, лёгкий на подъём, от всех отрешённый, вдохновенно шептал стихи, потому что работал – с голоса. Переехал

из дома старого он в квартиру, потом в другую. Ни привычкам своим, ни чаяньям никогда он не изменял. Другом был – небывало надёжным. Смело можно сказать – вернейшим. Положиться мог я всегда на него. Был он честен и смел. Он дождался – изданий. Книги выходили, одна за другой. Стал при жизни – легендой. Скромность оставалась его врождённой, безусловно, главной чертой. Как и гордость, впрочем. И – вера. В путь свой, избранный им когда-то. В правоту свою. В слово. В речь. Он любовью был озарён. Жил – неистово, пылко, смело. Без оглядки на пересуды. Откровенно, чисто, светло. Выжил он – в былую эпоху. Состоялся в ней, как поэт. А в начале столетия нового – умер он. Тяжела утрата – для меня, для всех земляков. Но стихи его – вместе с нами. Жизнь встаёт – за его словами. Речь – жива. Во веки веков.

Алик Хмара. Олег. Потомок, по отцовской линии славных запорожцев, древнего рода, а по линии материнской – тоже славных донских казаков. С Украины он. Вырос, учился в институте – в Днепропетровске. А в начале шестидесятых он работал и жил в Кривом Роге. Мы с ним накрепко, навсегда подружились уже тогда. Позже он в Подмоскovie, в Люберцы переехал. Мотался часто по различным командировкам. В основном по шахтам, поскольку инженером горным он был. Мы общались всё время в Москве. В Коктебеле порою бывали. Был он другом таким, какого не найти мне, пожалуй, теперь. Хмара был настоящим поэтом. Написал он не так уж и много. Но и этого предостаточно, чтобы жили эти стихи. Стройный, тонкий, подтянутый, сильный, обаятельный, искренний, добрый, рассудительный, скромный, честный, дорожил он друзьями своими. Очень нравился женщинам. Был с ними прост и открыт. Любил он природу, рвался всегда к ней из города. То по Днепру и Самаре ходил на катере, на любимой своей Украине, то позднее, в России, по Волге. Рыбаком был заядлым. Знал всё о реках, с которыми сжился. Говорил негромко. Держался неизменно спокойно, естественно, что бы ни было с ним, но с достоинством. В нём была – порода казацкая. Благородство врождённое. Выдержка. И своё понимание чести. И поэзии. И людей. Перенёс инфаркт. Знать, сказались напряжение, перегрузки на работе, к которой он относился очень серьёзно. Стал прихварывать. Приезжал в Коктебель ко мне – попрощаться с морем, югом, привольем, свободой, с ясной молодостью своей. Умер он. А стихи – остались. Завещал он похоронить себя там, где предки его лежали век за веком, в селе старинном украинском, казачьем, – Вольном. Так вернулся он, поскитавшись по просторам страны, которой нет на картах теперь, на родину. И лесная река Самара помнит голос его, и помнит Днепр, и Волга помнит, и помнят все подруги его и друзья. Голос жив, потому что живы все стихи его. Все порывы – в даль зовущую. Все прорывы – к тайне. К сути. Костёр горит. В котелке уха закипает. Вечер исподволь наступает. О минувшем река вздыхает. И звезда с ним вновь говорит.

Дима Борисов. Друг мой давний. Вадим. И – Димка. Для своих. Для нашего круга. Все любили его. Дорожили дружбой с ним. Он был уникальным человеком. Очень московским. Образованным, умным, живым. Остроумным, добрым, отважным. Наделён был чутьём особым – на поэзию, на искусство. Понимал несравнимо лучше многих прочих людей, что к чему. Видел – суть. Прозревал – грядущее. Был вынослив. Стоек. И честен. Сверхпорядочен. Трудолюбив. Был высоким, худым, кудрявым, сильным, быстрым в движеньях. В очках. За которыми – полные жаркого,

золотого огня, – глаза. В них – душа его раскрывалась. Но не всем. Далеко не каждому. Был он гордым и независимым. Да и вся его жизнь была непрерывным сражением. Так уж всё сложилось. Блестящий историк, был лишён он властями возможности заниматься делом своим. Был известным правозащитником. Всё прошёл – и гонения, и беды. Надрываясь, работал. Брался за любую работу, лишь бы прокормить большую семью. Никогда ни на что не жаловался. Терпелив был. Упорен. Упрям. Выбирался из разных драм и трагедий. Всё время держался. Проявлял непрерывно волю. Годы шли. Перенёс инсульт. Но – восстал. И вернулся к жизни. Наваждение псевдосвободы принесло ему раны душевные и страдания. Пил. Но вновь оживал – для новых идей, для трудов. Энергия в нём возрождалась сказочным образом, чтобы всё озарить вокруг, всем доставить радость и счастье. Светоносным был человеком. Дивным. Уровня Чаадаева. Был одним из лучших людей столь любимой им с детства России. Умер странно. Где-то в Прибалтике он уплыл, на отдыхе, в море, в одиночку. И – не вернулся. Через сколько-то дней нашли, наконец, его тело. Возможно, он ушёл сознательно. В море. Или – в вечность. От бед. От болезней. От мучений вечных мирских. Но огонь, горевший в глазах его, пламень жаркий, остался с нами, здесь он, рядом, вокруг, повсюду, никуда не исчез, он жив. А величие человека – оторвать невозможно от века, для потомков легендой ставшего, дух и свет для них сохранив.

Володя Брагинский. Друг мой старинный. Отличный прозаик. И крупный востоковед. Говаривал Дима Борисов, наш общий чудесный друг, да ещё одноклассник Володин, что очень Володя похож не то на апостола Павла, не то на Петра. Не помню, на кого конкретно их них. Был похож он, скорее всего, на себя самого. Москвич. Сын известного востоковеда. Сам пошёл по стопам отца. Длиннолицый. Темноволосый. С аккуратной чёлкой. Одет был аккуратно, просто. Но взгляд – с тайным жаром. Со школьных лет он писал и стихи, и прозу. И прозаиком был – настоящим. Но пришлось заниматься – наукой. Написал он множество книг. Перевёл малайскую прозу, сказки. Всё – по науке. Работа непрерывная, многолетняя. Только прозу свою, которую он любил читать нам когда-то, не издал он. А мог бы издать. Да, он ездил по разным странам. Побывал на Востоке, в Европе. Много видел. Много знал. Стал он верующим человеком. Стал он кумом моим. Порою мы встречались с ним, говорили, как и встарь, по душам. Потом – он уехал. Внезапно. Вдруг. Навсегда. Для всех – неожиданно. Поселился в Лондоне, вместе со своей семьёй. Стал профессором. Написал ещё больше книг, чем в России. Друзьям – не писал ни единой строки. И долго. Почему? Спросить у него? Не хочу. Наверное, так вот связи все оборвал он. Зачем? Лишь в последние годы, поскольку интернет существует в мире, ну а с ним электронная почта сразу стала привычной для нас, иногда он пишет мне. Краткие письма. Так, мол, и так. Работал. А теперь вот – вышел на пенсию. Фотография: домик, садик. Дети выросли. Внуки есть. Ну а я вспоминаю Володю – молодого. Умного. Доброго. И талантливого. Звучит столь знакомый голос его. Он читает свои рассказы. В них – живые слова и фразы. И за явью в них – волшебство. Всё – его. И судьба, конечно. И труды. На земле извечно человек выбирает – Путь. Дружбы прежние – всё дороже. Может быть, нам удастся всё же повидаться – когда-нибудь.

Саша Морозов. Друг мой – почти половину столетия. Высокий. Когда-то был – худым. Теперь – погрузнел слегка. Поседел, конечно. Боро-

да – по-прежнему пышная. Филолог. Писал стихи. Прозаик хороший. Долго в отечестве не печатался. В девяностых – начал печататься. Даже Букера получил. В шестидесятых жили мы друг от друга довольно близко. Он ко мне, да и я к нему, в гости ходили – пешком. Он любил чудачества разные. Собирал стихи о кузнечиках. Предлагал всем друзьям и знакомым рисовать кикишу какую-то. Собрал на руинах Останкина, в деревянных домах, снесённых и сожжённых к очередной годовщине советской власти, большую коллекцию старой посуды и прочих, разнообразных, весьма интересных предметов. Хорошо понимал он поэзию. Обладал своим, незаёмным и достаточно тонким юмором. Был к друзьям внимателен. Знал цену дружбе. И – цену слову. Годы шли. Он писал статьи. И сценарии, для кино. Привозил священный огонь, из Иерусалима, в Россию. Летом – жил на даче, в Хотькове. И сейчас туда приезжает – и живёт подолгу. Находит на дороге дмитровской старой то монеты древние, то что-нибудь ещё, из диковин. Он давно привык увлекаться чем-нибудь. Быть азартным. Так – интереснее жить. Дети – выросли. Внуки – есть. Да и тексты – изданы. Он звонит мне порой, когда я бываю в Москве. И я иногда звоню ему. Изредка удаётся увидеться нам. Вновь – беседуем. Оба – седые. Вспоминаем лета молодые. А потом, оба – в разные стороны, разъезжаемся – по домам.

Слава Горб. Старинный, особенный, золотой, с юных лет моих, друг. Половину столетия мы дружим с ним. Навидались – всякого. Съели соли немало пудов. Несмотря на сложности, выжили. Встарь мы вдосталь наговорились. И сейчас говорим порой. Хоть и видимся слишком уж редко. Но зато – конечно же, с толком. Говорим – словно не было все промежутков в общении нашем. Нить духовную – невозможно разорвать ни драмам, которые и со мною, и с ним бывали, ни каким-нибудь нынешним вывертам разгулявшейся псевдосвободы, ни утратам, слишком тяжёлым для души и для сердца, ни ставшему очевидным и беспощадным, как война, разобщению людскому, ни болезням, ни одиночеству, ни обидам, ни злу, – ничему. Время – с нами. И память – с нами. Друг мой крепок, породы казацкой, и вынослив, и стоек. Медлителен иногда. Но зато – прозревает суть вещей и явлений. Умён. И талантлив. И дружбам верен. Коренастый, прочно стоящий на земле своей. Сын Украины. Безусловно, хороший сын. Солнце любит он с детства. Приволье. Море любит. И степи родные. Мой земляк. Соратник. В Москве не прижился он. Переехал в Киев. Там и живёт. Бывает у меня в Коктебеле. Знает, что всегда ему здесь я рад. Написал он вещи такие, что поэзия в них – стихия, хоть и проза вроде бы это. Новизна в них, поющий лад – неизменны и драгоценны. Издают их, пусть – постепенно. И – читают. Они – живут. Говорить об этом я вправе. Сколько писем писал я Славе, сколько писем он присылал мне! Уцелели. Смиренно ждут – и вниманья, и пониманья. Что-то брезжит вдали, за гранью уходящих в легенду лет, – может, пламя свечи полночной, может, ответ зари бессрочной, может, звёзд негасимый свет. Ветер запах принёс полынный, чтобы дух оживал былинный в том, что создали мы. Слова стали ясными. Солнце в мире светит ярко. Пространство – шире. Время – дорого. Речь – жива.

Коля Боков. Племянник поэта-долгожителя Виктора Бокова. Едкий, резкий, голубоглазый. Словно кость – поперёк ли горла, поперёк ли всех и всего, что мешало ему, раздражало и временно не устраивало. Саркастичный? Да как сказать! Ироничный скорее. С юмором

характерным, чёрным весьма. И достаточно образованный. Был – таким. Какой он сейчас – я не знаю. Столько ведь лет миновало с тех пор, когда он уехал на Запад. Был он в молодые годы свои, здесь, на родине, интересным, самиздатовским, разумеется, но печатавшимся потихоньку за границей, ярким писателем. И стихи писал. Издавал свой журнал под названием «Шея», на машинке перепечатанный. Он имел отношение к СМОГУ. Но старался быть независимым. Непохожим на всех вокруг. В эмиграции он издавал свой журнал – известный «Ковчег». А потом – пошли неприятности, осложнения в жизни. Судьба оказалась довольно сложной. Он отшельником жил в пещере, много лет. Путешествовал много по различным странам. И стал вроде даже религиозным человеком. Потом, в Париже, сочинил роман о клошарах, ставший там бестселлером. Начал вновь работать усердно. Книги появлялись одна за другой. Не видались мы слишком давно, чтобы знать мне о нём побольше, – чем он жив, как живёт, и так далее. Существует – и в книгах своих, и в поступках своих, порою необычных, парадоксальных, и в моей, хранящей всё то, что с эпохой былою связано и с людьми этой трудной эпохи, нас взрастившей, единой для всех, возрождающей, воссоздающей всё, что видел, что знаю, памяти.

Марк Ляндю. Поэт. А в прошлом – геолог. Потом, с годами, надолго, экскурсовод. Ныне, уже давно, впрочем, пенсионер. Жил в Томилино, в Подмосковье. Посещал, с усердием редкостным, всевозможные литературные – вдосталь было их – объединения. И везде – читал, с выражением, артистично, свои стихи. Был он в СМОГе. Мясистый нос. Близорукий. Очки сверкали. Завывал, гудел, рокотал, что-то гулко бубнил молчал. Было много в нём молодой, диковатой слегка, энергии, несмотря на возраст. Потом он женился, в который уж раз. Погрузнел. Стал спокойнее, тише. Стал солиднее. Остепенился. Но его прорывало – и он становился всё тем же, прежним, странноватым, бурным, восторженным, – лишь посверкивали глаза с озорною искрой за стёклами запотевших его очков да взлетали руки, то вверх, к небесам, то куда-то в стороны, и сквозь гул, издаваемый им, прорывались строки стихов. Был он добрым? Думаю, в меру. Но поэзию – страстно любил. И особенно – символистом. Да и сам был – таким вот, нынешним, запоздалым слегка, символистом. Стал печататься. Выпустил книгу. Говорят, интернетчик заядлый – есть какой-то собственный блог у него, там он что-то пишет. Приезжал в Коктебель он, бывало. Навещал меня, вместе с женой своей. Бурный, грузный, очкастый, в берете. И – с тетрадью стихов под мышкой. Но – подвижный. Ходил по окрестностям коктебельским довольно часто. И гудели над всей долиною и над морем – его стихи. Полагаю, гудят они, буйные, вдохновенно, призывно, громко, на подъёме, по-символистски, по-смогистски, сейчас и в Москве.

Генрих Сапгир. Вальяжный, усатый, слегка под хмельком. А иногда – и крепко выпивши. Так бывало. Но никто никогда почему-то не говорил о нём осуждающе: вот, мол, пьёт. Поэт, переводчик, автор детских стихов, драматург. В компаниях – демиург. В застольях – руководитель. Хандры и тоски победитель. Ко всему относился – легко. Лишнее – отметал, за ненадобностью. Оставлял только то при себе, что было и удобнее, и надёжнее. Так – спокойнее. Проще жить. Не мешает ненужный груз чьих-то текстов или вопросов надоевших, о смысле творчества или бренности бытия. Он умел работать. Но знал

меру. То есть – не перерабатывал. Оставлял себе в досталь времени – для прогулок, пиров, ресторанов и поездок – благо была у него такая возможность. Жил – размашисто, широко. Словно год за годом навёрстывал то, что в детстве недополучил. Был талантлив. Ревнив к соратникам – иногда. Дружелюбен. Знал он и цену себе, и место, по заслугам, в поэзии нашей. Заводил романы. Менял жён. Готов был помочь друзьям, если надо. Мы долго с ним, с явной пользой для нас обоих и достаточно крепко дружили. Написал он довольно много книг стихов. Не печатался долго. Но зато его детские вещи издавались всегда на ура. Шли спектакли в детских театрах непрерывно, по пьесам его. Зарабатывал он немало. Но и тратил деньги охотно. Потому что на смену истраченным приходили новые деньги. В перестройку – стал издаваться он в отечестве. Начал бывать за границей. Остепенился? Нет, остался собою, прежним. Только несколько погрузнел, поседел. Но улыбка, часто появляясь из-под усов, говорила всем окружающим, неизменно: всё хорошо! Стал писать он и прозу. Книги выходили, одна за другой. Молодёжь его мэтром считала. И росла известность его. Умер он внезапно, в автобусе, отправляясь на выступление. После смерти – пришла и слава. Даже книга воспоминаний выходила потом – о нём. И осталось в памяти – дождь, Коктебель, приволье и лето, мы идём с ним вдвоём вдоль моря, смотрит он с интересом вокруг, говорит привычно: «Понятно!» – и улыбка его приятна встречным всем, да и жизнь отрадна, и, конечно, радостен юг.

Игорь Холин. Чем он доволен? Или, может быть, недоволен? Тем, что был он встарь недозволен, а теперь – давно вседозволен? Всё равно ему Смотрит молча из-под стёкол очков, седой, длинный, бритый, сухой, худой, неизменно – невозмутимый. Публикации? Хорошо. Ну а книги? Да пусть выходят. Был он притчею во языцех при советской власти. Подпольным, необычным, барачным поэтом. Лианозовцем. Он учился у Евгения Леонидовича Кропивницкого. Стал известным – в андеграундных, узких кругах. Он прошёл войну. Не любил никогда говорить о ней. Он работал официантом. Фарцевал по крупной. Писал для детей. Сочинял сценарии, между делом, для телевидения. Жил – без лишнего шума, закрыто. Не любил впускать посторонних он в свою, какая уж есть, как сложилась, ровную жизнь. Не любил открывать, даже выпивши, даже близким, душу свою. Мы нередко с ним виделись. Он относился ко мне дружелюбно, даже с явной симпатией. Знал и ценил стихи мои. Звал, иногда, приветливо, в гости. Вёл спокойные разговоры – то о жизни, то о знакомых, то о старости, то о судьбе. Умер летом он, после болезни, в девяносто девятом году завершающегося столетия. Издан был двухтомник его сочинений, стихов и прозы. Изучают его наследие литературоведы нынешние. Только в памяти – он встаёт, весь прямой, как римский сенатор, смотрит пристально вдаль куда-то, а потом идёт по дороге, то ли мирной, то ли военной, чтобы к свету выйти опять.

Это кто там? Эдик Лимонов. Кудреватый. В очках. И в кепке, называемой «аэродромом». Он – из Харькова. Прибыл в Москву. Оглядеться здесь надо. Прижиться. К нужным людям сразу прибиться. Там, где надо, вмиг появиться. Создавать о себе молву. Тихий, вроде бы. С виду – скромный. Чинный. Вежливый. Нежный. Томный. Но себе на уме он был. Помогала ему богема. Все решали его проблемы. Он об этом потом – забыл. Голос вкрадчивый стал нахальной. О судьбе своей

эпохальной заявлял он ещё давно. Самоомнение – нарастало снежным комом. И маска стала – главным в жизни. Но всё равно привечали его повсюду. Шил он брюки разному люду. Зарабатывал. Сочинял непрерывно стихи и прозу. Злобу долго растил, как розу. Жизнь по-своему изменял. Надоело ему в столице. Стал мечтать он о загранице. И уехал туда. И там приживаться по новой начал. Ничего собою не значил. Шёл за случаем по пятам. Был упорным. Стал издаваться. От амбиций – куда деваться? И в политику он полез. И – прижился в ней. Разгулялся. Побывал на войне. Вписался в журналистский лихой ликбез. Возвратился в Москву. Здесь маску он сменил. И придумал сказку, изуверскую, на крови. Создал партию. Стал заметным. Знаменитым. С кличем победным рвался к власти. Что ж, се ля ви. Завалил своей писаниной всю страну. Не агнец невинный – натуральный фюрер. Герой. Посидел в тюрьме. На свободу – победителем вышел. С ходу занялся своею игрой. Бес? Безумец? Всё – в должном стиле. В точку. Лишь бы о нём – говорили. А потом – что будет потом? Пыль дорожная. Гарь лесная. Топь болотная. Тьма ночная. Да бурьян – на месте пустом.

Вот он, вроде бы рядом. Вагрич Бахчанян. Художник. Из Харькова. Но приехавший жить – в Москву. Потому что была столица для людей богомных в далёкие и уже невозвратные годы чем-то вроде недостижимого и манящего всех Парижа. Невысокий. В костюме джинсовом. Острослов. Армянин, на двести, как любил говорить он, процентов. С ним – жена его, Ира Савинова, очень верная, волевая и с характером, тоже художница. Был поистине он королём грандиозного чёрного юмора. Был художником очень ярким, авангардным. В Москве – прижился. Был душою любой компании. Зарабатывал в «Литературке» и во многих других изданиях. Все любили его. Казалось бы, жить да жить супругам в Москве. Но жилья своего у них, столь известных, в столице не было. Постоянно они снимали для себя какие-то комнаты. Стал народ разъезжаться вдруг – кто в Европу, а кто в Израиль, кто в Америку, кто куда. И супруги – тоже уехали. Оказались они – в Америке. Поселились они – в Нью-Йорке. Бахчаняна все звали – Бахом. И в Америке, на чужбине, он остался – самим собою. Непрерывно работал. Был – в эмигрантской среде – известным человеком. Душой компаний. Выставлялся. Дружил с Довлатовым. Оформлял какие-то книги. Пристрастился в центральном парке, на пруду, от людей подальше, на природе, рыбу ловить. Говорят, что Ира устроилась на работу в солидную фирму, зарабатывала нормально, даже стала вскоре начальницей. Бах – беседовал по телефону со знакомыми. Рисовал ежедневно. Седел, лысел. Стал хворать. И весьма серьёзно. Побывали супруги в Москве, состоялись у Баха выставки. Вышли книги его на родине. Только он – уже угасал. И однажды – покончил с собою. Горевали о Бахе – все, и на родине, и за границей. Вспоминали о Бахе – все. Колоритный был человек. Уникальный. Очень талантливый. И осталось – великое множество первоклассных его работ. И осталась – Ира, которой что-то делать с этим наследием, поступать разумно придётся. И осталась – память о Бахе. Память светлая. Навсегда.

Слава Лён. На самом-то деле он – Епишин. Лён – псевдоним. Но со временем к этому все, как бывает у нас, привыкли. Лён так Лён. Согласны. Пусть – так. Хочет – будет не Льном, а Лёном. Не Епишиным, удалённым, за ненадобностью, во мрак. Вижу Славу Лёна – радушным,

всю богему к себе зазывающим, спирт, на корках лимонных настоянный, в рюмки крохотные наливающим. Он – хозяин салона домашнего. Голова не болит со вчерашнего у него. У гостей – болят. Похмелиться гости велют принести. Приходят в себя, всё вокруг всё больше любя. Соловьём Слава Лён заливаётся. Всем гостям напоказ улыбается. Галстук-бабочка. Взгляд. Поклон. Раньше был фигуристом он. Шаг вперёд, шаг назад. Полёт. В эмпирии. Потом – на лёд. Пируэт. А потом – за стол. Всем, кто нынче сюда пришёл, будет снова стихи читать. Будут мысли гостей витать над графином со спиртом. В нём – смысл собраний. «Когда кирнём?» – каждый думает. Все – тихи. Лён – читает свои стихи. Был он всюду когда-то вхож. На любые затеи – гош. Он придумал «Бронзовый век». Был активен сей человек. И теперь он – везде. Куда ни придёшь – там и Лён, всегда. Постарел. Но былой задор – не угас. Он скользит, позёр, на фигурных коньках, сквозь дни и сквозь годы. Нельзя в тени быть. Он рвётся – на яркий свет. Что-то пишет. А может, нет. Чем-то занят. Спешит. Куда? Лёд растаял. Везде – вода. Исчезает фигурный след. За болотом – дороги нет.

Кто это там – из прошлого? Или, может, – из настоящего? Бородастый. Довольно высокий. С виду – вроде спортивный, подтянутый. Ну конечно – играет в теннис. Голос – низкий. Глаза – горят. Он уверен в себе. Спокоен. Любит выпить. Сын академика. Он – учёный, химик. Серьёзный. Автор множества разных статей. Компанейский парень. Володя Сергиенко. Поэт. Отчасти – Дон-Жуан. И – доктор наук. Он, конечно же, книгочей. Автор книги стихов, единственной. Выступает на вечерах, в том числе – и памяти СМОГа. В девяностых он, отдохнув, приезжал ко мне в Коктебель. А в Москве мы с ним редко видимся. Занят он вплотную – наукой. Давним дружбам – верен доньне. Жив. Работает. Полон сил. Несмотря на возраст. Есть дети. Внуки есть. И стихи ведь – есть. И – живут. Из былого века – речь хорошего человека. Из бесчасья – потомкам – весть.

Дима Савицкий. Крепкий. Невысокий. Талантливый. Взрывчатый. С ассирийскою бородою – в молодые свои года. Прозаик. Поэт. Журналист отличный. Надёжный друг. Мы работали с ним когда-то в газете «За доблестный труд». И в этой газете Дима печатал свои рассказы. Почему-то учился он в Литинституте. Повесть написал. Из-за этой повести – не получил диплом. Я знакомил его с людьми из нашей среды богемной. Дима писал и прозу, и стихи. Раздаривал сборники самиздатовские свои. В трудный его период я отправил его в Коктебель благословенный, к Марии Николаевне Изергиной. И там – возродился Дима. Ожил. Всех переигрывал в теннис. Готовил обеды. И написал роман. Потом он влюбился. Был, видимо, очень счастлив. Потом он опять влюбился. В парижанку. Уехал в Париж. Всё бросил в Москве. С собою взял – пишущую машинку. В Париже его ожидали неисчислимые сложности и драмы, и даже трагедии, связанные с любовью. Он – выстоял. Выдержал – всё. И решил остаться – в Париже. Навсегда. Изучил язык французский. Знал и английский. Он стал издавать свои книги. Зарабатывал много. Ездил по экзотическим странам. Работал и как журналист. Стал вести передачи о джазе, на радио, на «Свободе». Был знатоком джаза. Сразу стал знаменит. Его передачи слушали миллионы людей. Он сбрил ассирийскую чёрную бороду. С виду стал вполне парижанином. Годы шли. Облущился он в армии, на секретных объектах,

в молодости. И сказалося это потом. Стал хворать. Стал бороться с хворобами. Побеждать. Изучил медицину. Прочитал всё, что было написано на французском и на английском языках. Писал свою прозу. И стихи. В девяностых годах вышли книги его и на родине. Дима – лучший знаток Парижа. Он по городу этому ездит, по привычке, на велосипеде. Пьёт вино в знакомых кафе. Иногда – запивает, бывает. А потом – прекращает пить. Он – живучий. С корнями крымскими. С коктейбельской хорошей закваской. И с московской. Он – свой. Из того же, что и все мы, друзья его, теста. Настоящий, крупный писатель. Человек выносливый, стойкий, волевой. И новые книги он напишет ещё. Впереди – свет, который ведёт его к цели. Он докажет, что жив, на деле. Бури – вроде давно отгремели. Сердце щедрое – бьётся в груди.

Вадим Делоне. Потомок коменданта Бастилии. Внук академика. Парень приветливый, компанейский, отзывчивый. Вадик. Поэт. И прозаик. А также – известный правозащитник. В шестьдесят восьмом, вместе с прочими, в знак протеста против введения войск советских в Чехословакию, был на Лобном месте. Сидел в лагерях. Не так уж и долго. Но – достаточно, чтобы об этом, позже, книгу свою написать. Помню встречи с ним. Помню, как он вдохновенно стихи читал. Помню наши беседы давние. Он уехал в Париж. На родину предков. Жил там, тоскуя по родине, им оставленной, той, где вырос, где остались его друзья. Пил. Метался. Страдал. Издавался. Написал он немного. Был и в Париже общим любимцем. Умер, слушая, в сотый раз или в тысячный, на пластинке, им поставленной, для настроения, или, может быть, от тоски, вдруг нахлынувшей, от печали безысходной, или в подпитии сильным, песни Алёши Хвостенко. Симпатичный. И обаятельный. Добрый. Искренний. Вадик. Светлый человек. Свеча на ветру отшумевшей былой эпохи.

Володя Эрль. Был – Владимиром Ивановичем Горбуновым. Стал – Владимиром Ибрагимовичем. Захотел однажды – и стал. Эрлем быть – непросто. Он вжился в этот образ. Как вновь родился. Колобродил. Чудил. Творил миф, который – сам говорил за него. Бородой оброс до колен. Как немой вопрос – к небу поднятая рука. Взгляд, ушедший за облака. Мир абсурда – велик и мил. В нём прижиться – хватило б сил. Обошлось. Алогичен путь, где поглубже нельзя вздохнуть. Дышит всё-таки. Одолел перевал. И остался цел. В Петербурге живёт. Залив из окна созерцает. Скрыв одиночество и тоску. Повидал на своём веку многовато. В молчанье – крик. По созвездию – ясно, Бык. То есть, лучше сказать, Телец. Где же сказке такой конец? Да нигде. Продолженье впредь будет ярче. Куда смотреть? В даль. А может быть, всё же, в боль? В был, скорее. Такая роль. Есть отрада. И есть – игра. Что же будет – потом? Пора призадуматься? Маску снять? Как ни тщишь, не вернуться вспять. В май, где в СМОГ записался он. Словом, в юность. Прошла, как сон. Врос он в явь. Оторвать – нельзя. Мифотворческая стезя привела его в новый день, чтоб легенды вставала сень над его головой седой, чтоб над невской стоял водой странным знаком судьбы своей эрлекин петербургский сей.

Володя Бродянский. Старинный друг мой питерский. Режиссёр театральный. Но это – в прошлом. А теперь он – самый таинственный человек, из всех, кого знаю. Был – худым, даже тонким. Лёгким на подь-

ём. Повидал немало разных мест в отечестве нашем, прежнем, нынче не существующем. Путешествовал – автостопом. Временами – ездил на поезде. Жил он раньше – в любимом Питере, в самом центре. Учился в Москве. Познакомил меня со многими интереснейшими людьми. Познакомил и я его, в середине шестидесятых, со своими друзьями тогдашними. Был на редкость он обаятельным. Светлый, странный. С глазами эльфа. Дамы сразу в него влюблялись. Им взаимностью он отвечал. Создал он свой детский театр, знаменитый, в Лодейном Поле. Создал он университетский, ленинградский, известный театр. Испытал на себе гонения и преследования властей. Стал работать питерским дворником. У него были жёны, дети. Жил в деревне. Построил дом. Научился там выпекать удивительный чёрный хлеб. Продающийся нынче в Питере. Всем известный «бродянский хлеб». Обладал чутьём фантастическим – на достойное, настоящее, – и в поэзии, и в искусстве. Собирал годами серьёзную и большую библиотеку. А потом – всё роздал. Имуущество, книги, живопись, и жильё своё. Роздал – всё. От всего стал – свободным. Опростился – до невозможности. Ел капусту и чёрный хлеб. Стал – целителем. Помогал стать здоровыми людям. Тихий, весь какой-то светящийся. Взгляд – словно луч. Говорил спокойно, рассудительно. Приезжал он ко мне, в кацавейке старой, с тайной в каждом пронзительном взгляде, в каждом слове, со свёртком в руках, в свёртке – хлеб и капуста. «Кушай!» – говорил. Улыбался кротко. Мы беседовали часами. А потом он – вдруг уходил. И – надолго. Думаю, так было надо. Ему виднее. А потом – он исчез куда-то. И не просто надолго – на годы. Где он был? Появился – сам. Оказалось, он путешествовал. Жил в Израиле. Выпекал там свой хлеб. И работал грузчиком. На себе, в одиночку, носил пианино. Откуда силы? Были силы. И воля была. К жизни. В самых невероятных, самых разных её проявлениях. Находил он по всей Земле удивительные места с энергетикой небывалой. Был не раз и не два в горах. Поднимался он на Эльбрус. Поднимался на Арарат. Поднимался на Килиманджаро. Поднимался на Эверест. За морями и за океанами находил он то, что ему было, видимо, необходимо. Жил однажды на острове Пасхи. Где он только не побывал! Познавал он мир. Прозревал что-то в мире совсем особое. Что-то важное знал. Спасительное и целебное – для человечества. Просветлённости он достиг на путях-дорогах земных. Возвратился в Питер. Живёт очень просто. С виду – волшебник. Борода – ни разу не стрижена, клочковатая, редкая, длинная. И на редкость скромно одет. Не нужны ему лишние блага. Духом жив он. И светом жив. Как всегда, на помощь придёт, если надо. Вернейший друг. Изумительный человек. Даже больше того – редчайший. Прочно связаны судьбы наши. Продолжаются наши встречи. Продолжаются наши беседы. Пусть нечасто. Пусть иногда. Время – с нами. Творчество – с нами. Негасимое с нами пламя. В прошлом – друг он. И ныне – друг он. И останется им – всегда.

Коля Недбайло. Художник. Рисовал он – левой рукой. А стихи писал – правой рукой. То есть с пользой всегда использовал, в дело нужное сразу пускал, со сноровкою, обе руки. Был задирист, самоуверен. Чуб – на лоб. Напускная бравада. Прибаутки. И поговорки. Сам придумал – сам и сказал. Глаз прищурен. Язык остёр. Невысок. В одежде поношенной. Да и брюки коротковаты. Но зато – берет или шляпа – знай, мол, наших! – на голове. Гонор был завсегда при нём. Зарабатывал он прилично. Был богемой? Ну что ж, отлично! Мог работать – ночью и днём. Рисовал. А потом – гулял. Широко. Подолгу. С размахом. С нищетою

был знаком, со страхом, – с детских лет. Дурака валял понарошку. Ведь был – хитёр. Понимал, что к чему. Порою, загуляв, вытворял такое, что похмелье – сплошной костёр. Но потом, в мастерской своей, он работал, закрывшись, много. Ждать чего-то и жить убого не желал он. Вперёд, скорей! Жить – сейчас. Выставляться. Быть на виду. Так даёшь успехи! Что запреты и что помехи? Жизнь – одна. Значит, надо жить. Вот и жил. Всем властям – назло. Почему-то ему везло. Постарел. Растерял друзей. Вроде жаждал отдать в музей он холсты свои. Кто возьмёт? Видит око, да зуб неймёт. Чем он занят? Да всё равно. Я не виделся с ним давно. Был он в СМОГе – да сплыл. Берет мокнет в глубинах минувших лет.

Лёша Курило. Так называли его мы раньше. Вообще-то он – Леонид. С Украины родом. Художник. Настоящий. Учился в Строгановке. Но тогда уже – состоялся. Был всегда он – самим собою. Независимым. Работящим. Компанейским. Приветливым. Добрым. Был он в СМОГе. Был верным другом. А потом – отошёл от СМОГа. Открывалась пред ним дорога – для трудов его постоянных. Он работал – и за границей, и в отечестве. Создавал витражи. И холсты. Выставлялся. Стал художником официальным. Но зато – превосходным мастером. Годы шли. Мы не виделись долго. А потом – повидались. Он отыскал в архиве своём фотографии наши давнишние. И теперь они – многим известны. Бородатый, с короткой стрижкой, мускулистый, крепкий, седой, вспоминал Курило – о прошлом. О своём. И – нашем. Хорошем. В настоящем он жив – работой. И храним он – своей звездой.

Боря Кучер. Худой, высокий, даже длинный. Слегка прихрамывал – подорвался на mine в детстве, в Севастополе. Там он вырос. А учиться приехал – в Москву. Вместе с Лёшей Курило и прочими, из смогистских времён, художниками, был он тоже студентом Строгановки. Был он – с юмором. Настроение неизменно всем поднимал. Обаятелен был. Приветлив. Был хорошим художником. Чудом сохранились его работы у меня. Время было сложным. Раскидало ребят из Строгановки, получивших свои дипломы, из столицы – кого куда. И не знал я лет сорок пять – где Борис обитает, где отыскать его? И недавно оказалось, что он живёт в Нижнем Новгороде. Бывают у него персональные выставки. Значит, много работает. Видел я в интернете его рисунки – словно тёплые воспоминания о былых смогистских годах. И на этих рисунках – все мы, вдохновенные, молодые. Значит, помнит он всё. Надеюсь, мы увидимся с ним. Он жив, полон творческих сил. Даст Бог, побеседуем. Вспомним СМОГ.

Слава Самошкин. Поэт. Высокий, худющий, очкастый, угловатый – в юности. Ныне – солидный, степенный, спокойный, но – со взрывчатостью, возникающей неожиданно. В СМОГе был – вместе с нами, на вечерах знаменитых. Надёжный друг. Верный. Искренний. Очень светлый. В МГУ он учился. Стал журналистом-международником. Занимал высокую должность в АПН. Потом это крупное заведение – упразднили. Поселился он в Бухаресте. Там активно, много работает по своей специальности. Пишет и на русском, и на румынском языке статьи, репортажи. Переводит с румынского – прозу и стихи. Наконец-то издал свою книгу стихов. Путешествует. Приезжает в Москву постоянно. Приезжал и ко мне в Коктебель. Привозил с собою вино, чьё название удивило и заставило призадуматься всех поэтов – «Слеза Овидия». Угощал им дру-

зей. Читал, громко, чётко, свои стихи. Презентацию книги провёл на волошинском фестивале. По душам со мной побеседовал. И на старенькой «Волге» своей укатил в Бухарест. Но в Москве – появлялся. Дела, заботы. Пишет мне. Присылает стихи. Публикуется нынче в журналах. Человек он талантливый. Добрый. И внимательный. И порядочный. Слово держит всегда. Умеет и работать, и отдыхать. Слава богу, что временами пробуждается в нём вдохновение, оживает снова горение, чтобы речи огнём полыхать. И тогда – стихи возникают. На него самого похожие. Внешне – вроде простые, сдержанные. Но внутри – негасимый свет. Испытаний – вдосталь. Минувшее чаще тянется к настоящему, чтобы нить протянуть грядущему в чистой музыке наших лет.

Марк Янкелевич. Автор текста «Метапсихоз». Остальных его сочинений, к сожалению, не припомню. Худой, оживлённый, с прядью седой среди тёмных волос. Был в СМОГе довольно деятельным. Участвовал в демонстрациях. Писал ли прозу – не знаю. Мы дружили в шестидесятых. А потом женившийся Марк отошёл он всего, что было раньше. Виделись мы всё реже. Ну а позже – долго не виделись. На закате восьмидесятых и в начале лихих девяностых занялся он арт-бизнесом. Вроде бы преуспел на открывшемся поприще. Сын его – за границей жил. Гнал ему «мерседес» оттуда. И разбился на гололёде. Марк страдал. Много пил. И умер. Прядь седая осталась в памяти – да весёлый голос. Из прошлого – глаз лучистых Марковых взгляд.

Валера Басков. Из Рыбинска родом. Постарше нас, но всё же из нашей компании. Книгочей. Собиратель книг раритетных. Позже, в Москве, где стал он со временем жить и работать – театровед. Немного сумбурный. Восторженный иногда. Порою – печальный. Но – искренний. И отзывчивый. Поэзию – понимал. Очень верно, всегда независимо от прочих мнений, по-своему, говорил о ней. Выпивал. А потом и пил. Закрываясь от людей, у себя в квартире. Появлялся всё реже, реже на виду. Исчезал – надолго. Как-то тихо он растворился за чертой междувременья нынешнего. Не желал, скорее всего, в нём участвовать. Чем он жил? Как он жил? Никто и не знает. Умер он, добродушный, улыбочивый, с чуть заметной хитринкой во взгляде, но простой в общении, увалень, одинокий, не понятый, замкнутый в сохранённом им мире своём, вход в который закрыт был для всех. И осталась – тайна. И – память. И ещё различим иногда голос, тающий постепенно, исчезающий вдалеке. Только ветер ненастный снова прилетит, прошептавший слово, столь знакомое, из бывшего, да цветок шевельнёт в руке.

Рудик Кан. Журналист. Поэт. Мой земляк. И друг мой давнишний. Голова точёная. Спину держит прямо. Ходит размашисто. Смотрит ясными, тёплыми добрыми, с грустью тихой и светлой, глазами повзрослевшего разом ребёнка или старца, на белый свет. Он работал годами в редакциях самых разных местных газет. Был хранителем наших – всей группы молодых криворожских поэтов из начала шестидесятых – текстов, им же тогда, на машинке, вечерами перепечатанных, да и прочих материалов. Может быть, когда-нибудь он обнаружит их, покажет современным людям? Хотелось бы вновь увидеть всех нас, героев, правдолюбцев и смельчаков, полных сил, вдохновенья, задора, в том, что прежде мы сочиняли. Жил он близко совсем от меня. Так что виделись мы постоянно. Говорили мы часто, подолгу, то гуляя вдвоём по улицам

нашей Гданцевки, густо заросшей тополями, листвою шелестящими на ветру, то в его квартире, небольшой, но такой уютной, где врывается в открытую форточку свежий воздух весны, или осени, или лета, или зимы, где покой был предвестьем воли, ну а воля – началом доли, где ненастные знаки боли возникали вокруг, – обо всём, чем когда-то жили, дышали, что потом случайно узнали, что теперь вернётся едва ли, что в себе сквозь годы несём, как огонь, для других незримый, но для нас то необходимый, неизменный, неукротимый, очевидный, как ни крути, нас вперёд упрямо ведущий, неизбежных свершений ждущий и прозрений в жизни грядущей на юдольном нашем пути. Он потом переехал, стал жить в другом, далёком районе. И не видимся мы подолгу. Но старинная дружба – жива. И стихи наши прежние живы, и души дорогие порывы, и над всем, что с нами навеки, молодая шумит листва.

Алик Учитель. Друг, с юных лет моих, криворожских. Старший друг. Мудрый друг. Серьёзный. Понимающий. Добрый. Внимательный. И надёжнейший. Светлый друг. Золотой. Александр Давидович. Словно с давних холстов прославленных, всем известных испанских художников к нам сошедший, в нашу не только непростую, но слишком уж сложную, но зато и доселе прекрасную, потому что дарована всем, чтобы жить и работать в ней, явь. Небольшой, но пластичный, стройный, крепкий, сильный и духом, и телом, фантастически просто выносливый, небывало работоспособный. Как он всё успевает? Да так вот. Потому что он прозорлив, образован, умён, талантлив, смел, упорен, внимателен к людям. Он учёный известный. Профессор. Создаёт институты. Бывает постоянно в командировках. Помогает всем, кто к нему обращаются. Помнит – всё. Всех поддерживает, опекает. Он – творец. И жизнь его – творчество. Созидает. Миры творит. Он, как Хлебников говорил, из творяи. Хорошо разбирается и в искусстве, и в литературе. Он всегда – в работе, в движении. Ну а дома, когда, бывало, прихожу я к нему, повидаться, побеседовать, он – чудесный собеседник, радушный, приветливый, чуткий, очень гостеприимный и внимательный друг. И с ним – Соня, светлая фея из сказки, изумительно добрая, искренняя, вся в полёте, порою восторженная, увлечённая и поэзией, горячо любимой, и музыкой, неизменно красивая, верная идеалам, его жена. Разговоры наши и встречи – незабвенны. Во имя речи и во имя свершений новых мы живём. В который уж раз убеждаюсь я: дружбы – святы, годы наши – давно крылаты, люди есть особые в мире. С нами он. И время – за нас.

Марк Бирбраер. Волшебник Маркус. Настоящий волшебник. Давний друг мой. Редкостный. Очень верный. Киевлянин. В былые годы – путешественник страстный, бывавший в самых разных местах страны – той, которой на карте нынче нет, которая всё же – с нами, в нашей памяти, в наших снах. Невысокого роста. Лёгкий на подъём – когда-то, давно, в дни, когда он был помоложе. Сквозь очки – жарчайший, ярчайший, жгучий, солнечный, Львиный взгляд. То-то в августе он рождён. Летний, тёплый, земной поклон – кручам киевским и ярам, паркам, улицам и дворам. Здесь – отчизна его. Он сед. Восставал, и не раз, из бед. Из болезней. Он – волевой. Несмотря ни на что – живой. Будет жить он и впредь. Всегда. Есть над градом – его звезда. Сберегает его судьба. Свежий ветер сотрёт со лба пот лишений, страданий, зол. Не случайно он в мир пришёл. Словно вестник добра. Для всех, с кем знаком он – и чей успех был предсказан им встарь. Вперёд смотрит он, вглубь и

вывысь. Встаёт свет над ним, чтоб сияньем стать. Призван он, чтоб любить и знать, в жизнь, в юдоль. С чередой лет ярче стал несказанный свет. Крепче – дружба. Верней – слова. Зеленой и шумней – листва над его головой седой. И душою он – молодой. Мудрый. Искренний. Книгочей. Смысл событий и суть вещей прозревающий. Зрячий. С ним – хорошо мне. Ведь он храним высшей волею. Что-то в нём от пророка есть. Словно днём, даже ночью светло, когда рядом он. И чисты года, дни, минуты, мгновенья. Снег или дождь, и разливы рек, и в пучине мирской ковчег, век минувший и новый век тоже – рядом, и жизнь – светла. Счастье. Радость. Прилив тепла. Марк. И – Мери, его жена. Словно в непогодь, вдруг, – весна. Свет апрельский. Сады в цвету. Путь – и в тайну, и в красоту. Дверь, открытая в новый день. За оградой, в глуши, – сирень. За порогом – небес простор. Вдосталь – музыки. Лад. Костёр. Несгорающая свеча. Отсвет солнечного луча. Отзвук песен – с высоких звёзд. Над пространством – воздушный мост. Марк и Мери. Друзья мои. Над минувшим – комет рои, восходящих светил следы. Продлеваются их труды, чудеса бытия дая. Над грядущим – горит заря.

Эдик Рубин. Друг мой давнишний. Киевлянин. Рыцарь без страха и упрёка. Чуткий. Внимательный. Деликатный. Изобретатель всевозможных чудес технических. И не счастье различных дипломов и патентов, которыми встарь до предела была завалена вся квартира его. Но средств это раньше не приносило. И работал он – инженером. Словом, творческий человек. Совершенствовался. И жил, по привычке, скромно и просто. Он любил свой Киев. Он был совершенно своим – в богеме. Круг его знакомств был широким. Круг друзей его – тесен был. Тонкий стройный, – струнка, звучащая на ветру весеннем, когда расцветали во круг акации и каштаны, цвела сирень, и в Днепре, на просторе водном, словно в дивном, текучем зеркале, отражались и чайки белые, и плывущие облака. Или – осенью. Или – зимой. Или – в летнюю пору. Всегда в нём звучала волшебная музыка бытия. Был он честен и стоек. Был надёжен. Знарок поэзии. Хорошо разбирался в искусстве. Знал он – многое. Жил – свободно, независимо. От всего, что мешало ему. Он мог отстраниться от всякой всячины надоевшей. И просто – жить. Но – по-своему. Без подсказок. Знал он сам, как ему поступать. Он уехал, давно, – в Израиль. Вместе с Олей, женой своей, замечательной, тонкой художницей. Оказался он там, на новой, обретённой вовсе не в молодости, а в достаточно зрелом возрасте, сердцем искренне принятой родине, и востребованным, и понятным. Дом в пустыне. Работа. Средства к жизни – в общем, вполне достаточные, чтобы ездить по разным странам, путешествовать, принимать и гостей, к нему приезжающих, и действительность, всю, и мир, весь, и всё в этом мире – таким, как сложилось, как вышло. То есть принимать всё – как дар. Порой приезжает он в Коктебель, вместе с Олей. Совсем седой. Но – звучащий всеильной музыкой бытия, которое всюду, где бы ни был он, сквозь пространство и сквозь время идущий, – с ним.

Вот он машет рукой – издалёка. Приближается, вроде. Идёт? Нет, сидит. В инвалидном кресле. Но в пространстве – сквозь время – движется. Неизменно – сюда, ко мне. Из былого – навстречу грядущему. Как на свет. На пламя свечи. На сиянье ночных созвездий. Крупный, крепкий, чернородый, с сединой сизоватой. Гена Бессарабский. Скульптор. И рядом – ангел. Маша, его жена. Он взволнован. И оживлён. Он доволен:

гости пришли. Навестили его – в мастерской. А работа – пусть подождёт. Взгляд лучистых, добрейших глаз – из немыслимых лет – на нас. И – на каждого. И – на всех. И – улыбка. И – взлёты рук. Вверх. И в стороны. И – навстречу. Всем он рад. Привечает – всех. Говорит – о высоком, важном. И для каждого, и для всех. Длинный стол. Крепкий чай. Идёт бесконечно беседа наша. Говорим. Читаем стихи. Голоса молодые наши остаются надолго здесь. Даже, может быть, навсегда. Остаются – в памяти нашей. Превращаются в изваянья. Так он вылепил и меня, молодого, худого, стройного, вдохновенно стихи читающего, руки, словно в молитве, раскинувшего в обе стороны, с головою, запрокинутой в небеса, в трансе явном, в порыве, в полёте, но и здесь, в юдоли земной.

Было всех вас когда-то много, из бывшего, из круга СМОГа. Поредели друзей ряды. В небе – свет путевой звезды. Тихь да глушь над приморским кровом. Перемолвиться не с кем словом. И уходят в тексты слова. Да и память с ними – жива.

Шумит над вами жёлтая листва, друзья мои, – и порознь вы, и вместе, а всё-таки достаточно родства и таинства – для горести и чести. И празднества старинного черты, где радости нам выпало так много, с годами точно светом налиты, и верю я, что это вот – от Бога. Пред утренним туманом этажи нам брезжили в застойные годы, – кто пил, как мы? – попробуй завяжи, когда не всё ли в общем-то едино! Кто выжил – цел, – но сколько вас в земле, друзья мои, – и с кем ни говорю я, о вас – в толпе, в хандре, навеселе, в беспомыслии оставленных – горюю. И ветер налетающий, застыв, приветствую пред осенью свинцовой, немолчаливый выстрадав мотив из лучших лет, приправленных перцовой. Отшельничать мне, други, не впервой – впотьмах полынь в руках переминаю, седеющей качая головой, чтоб разом не сгустилась мгла ночная.

Что-то вроде пунктира. Наброски. Или, может, штрихи. Или краткие, из минувшей эпохи, истории. Или попросту – то, что вспомнилось мне, седому, прямо сейчас. Раз пришло – говорю об этом. Благо время – в родстве со светом. И поэтому – в добрый час!

Вот и вышло – ушла эпоха тополиного пуха ночью, в час, когда на вершок от вздоха дышит лёгкое узорочье. Над столицей сень сквозная виснет маревом шелестящим – и, тревожась, я сам не знаю, где мы – в прошлом или в настоящем? Может, в будущем возвратятся эти шорохи и касанье ко всему, к чему обратятся, невесомое нависанье. Сеть ажурная, кружевная, что ты выловишь в мире этом, если дружишь ты, неземная, в давней темени с белым светом? Вспышка редкая сигаретки, да прохожего шаг нетвёрдый, да усмешка окна сквозь ветки, да бездомницы выбор гордый. Хмель повыветрит на рассвете век – железный ли, жестяной ли, где-то буквами на газете люди сгрудятся – не за мной ли? Смотрит букою сад усталый, особняк промелькнёт ампирный, – пух сквозь время летит, пожалуй, повсеместный летит, всемирный. Вот и кончились приключенья, ключик выпал, – теперь не к спеху вспоминать, – но влечёт мученье – тополиного пуха эхо.

Где в хмельном отрешении пристальны дальнорючие сны, что слушать возвышению призваны близорукой весны, в обнищанье дождя

бесприютного, в искушение пустом обещаньями времени смутного, в темноте за мостом, в предвкушении мига заветного, в коем – радость и весть, и петушьего крика победного – только странность и есть.

С фистулою пичужьею, с присвистом, с хрипотцой у иных, с остроклювым взъерошенным диспутом из гнездовой сплошных, с переключкою чуткою, цепкою, где никто не молчит, с круговою порукою крепкою, что растёт и звучит, с отворённою кем-нибудь рамою, с невозвратностью лет начинается главное самое – пробуждается свет.

Утешенья мне нынче дожидаться бы от кого-нибудь вдруг, с кем-то сызнава мне повидаться бы, оглядеться вокруг, приподняться бы, что ли, да ринуться в невозвратность и вьсь, встрепенуться и с места бы вскинуться сквозь авось да кабысь, настоять на своём, насобачиться обходиться без слёз, но душа моя что-то артачится – не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие, забытьём да былём, и на битву не выведу рати я со зверьём да жульём, но укроюсь и всё-таки выстою в глухомани степной, словно предки с их верою чистою, вместе с речью родной, сберегу я родство своё кровное с тем, что здесь и везде, с правотою любви безусловною – при свече и звезде.

5

Андеграунд – словцо с выкрутасами, с барабанными прибабасами, для частот самых низких типичное нынче, броское, заграничное.

Целенаправленный, резкий, прямолинейно-раскатистый звук его – чужд и тяжёл нашему, ко всему, вроде бы, только – вроде бы, вот что важно запомнить, привычному, чуткому, нет, абсолютному, если с речью он дружен, слуху.

Термин с дикой, кичливой претензией – нет, вы только себе представьте – не на что-нибудь там поскромнее, мол, чего мелочиться, хватит, надоело, бери повыше, рой поглубже, займи пространство, да и время, врасти корнями в землю, в небо пусти побеги, торопись гнездиться, плодиться, невзначай о цене рядиться с кем-нибудь, да хотя б с Хароном, или с критиком, неким звоном пусть услышится кем-то что-то, не нужны ведь для слухов ноты, всеохватнее, понахальнее, посмелее, – на универсальность.

Что-то сделанное, вещественное, но никак, никогда – не духовное, что-то зримое, наподобие дорожного указателя: только в этом езжай направлении – и не вздумай в пути сворачивать никуда, ни вправо, ни влево, никуда тебе больше нельзя, только прямо, туда, куда тебе, сам ты видишь, сам слышишь, указано, – ну а больше, – смотри мне, нарвёшься, коль зарвёшься, на неприятности, залетишь ты в зону опасную, налетишь на преграду властную, вразумят тебя мигом, умеючи, будешь знать, что почём, – никуда.

Этакий чужеродный, белыми хлипкими нитками неведомо кем и когда наспех пришитый лейбл – на истёртой, местами в клочья среди скитаний былых изорванной, ношенной-переношенной, но зато и привычной, надёжной, своего, отнюдь не заморского, не заёмного вовсе, незачем занимать, ведь своё-то исстари нам дороже всегда, отечественного, покроя и производства, пускай и действительно грубой, да, замечу тут же, надёжной, от всех, каковы бы ни были, мыслимых и немыслимых бед столько лет защищавшей и тела наши, может, и бранные, только всё ещё крепкие, в шрамах и рубцах, наследье сражений,

и невзгод, и всего, что пройдено, что испытано встарь когда-то, и души крылатые наши, всё ещё, нет, не выброшенной с глаз куда-то долой – ей-Богу, жаль расставаться! – ткани минувшей эпохи.

Скрепя – не впервые – сердце, приходится, как ни брыкайся, как ни крути, увы, что ж поделаешь, так уж вышло, так сложилось, надеюсь – временно, ни секунды не сомневаюсь, что, бесспорно, не навсегда, употреблять иногда это вот, нам навязанное, подброшенное на крыльцо, с чем-нибудь там да связанное неведомо кем, словцо.

Оно уже внедрено, оно по-своему, исподволь иногда, а то и в открытую, в лоб, впрямую, исправно, работает.

Кому-то оно удобно, наверное. Наверняка!

Выгодно, может, кому-нибудь? Не взято ведь с потолка!

Откуда-то – появилось. И – вот оно, здрастье, – пришло.

Что же нам всем остаётся? Только вздыхать тяжело.

Стерпится – слюбится? Так? По старинке? И – по инерции? Поскольку вот так-то – проще? Не думать. И не гадать.

Обходиться – тем, что всучили. Неизвестно – кто. И – откуда. Второпях. Наобум. Всем – оптом. Со всегдашним: пускай, сойдёт.

С наплевательским: ничего, переварят, потом – привыкнут. С издевательским: вот вам всем! Получили? Довольно с вас!

Что за звук в словце – нехороший? Нежелательный. Бестолковый.

Что за смысл в словце – подземельный, да и только? И есть ли смысл?

Где же – свет? Ну, просвет хотя бы. Выход, выдох, прорыв, полёт, воспарение. Где – дыханье? Где прозрение – наперёд?

Неужели привыкнем к этому, нам подброшенному, словцу?

Привыкали и не к такому ведь. Сколько раз – не сочтёшь вовек.

Неужели словцо дурацкое будет всем нам ещё к лицу?

Примирился ли с ним когда-нибудь терпеливый наш человек?

Ох, не знаю. Верней: не думаю.

Настроение – впрямь угрюмое.

Ночь темна. И душа – в смятении.

От неточности – где спасение?

Покуда более-менее точное определение, как ни грусти об этом, как ни вздыхай, не найдено, куда, пожалуй, разумнее и проще куда говорить, (не когда-нибудь там, потом, в отдалённом, туманном грядущем, а сейчас, в наше время, или же, что вернее, в странную пору междувременья, в дни, когда попытались мы все надышаться и свободой, и чем-то ещё, вроде воли, скорее – разгула всевозможных страстей и всяческих, на поверхности оказавшихся, непотребных порою, вывертов и каких-то ещё пируэтов, цирковых, балаганных, обманных, карнавальных – у одиночек, общемассовых, маскируемых под народные – у толпы, запрудившей вначале площади, стадионы, потом – экраны телевизоров захватившие под прицел своих цепких глаз, в ожидании многочисленных, громогласных, попсовых, любовных, а затем и кровавых зрелищ, сплошняком – негативных известий, самых свежих, горячих событий, происшествий, гламурных диковин, моды, слишком изменчивой для непривычных к такой пестроте и роскошествам всяким, голов, непрерывной стрельбы, погонь, голых девок, грудей и задниц, бриллиантов, дворцов и яхт, путешествий и приключений на любой из возможных широт, заграничной, вполне устоявшейся, в пику нашей, кондовой, жизни, заграничной, легко и просто пожира-

емой, и глазами, и не только глазами – всем человеческим естеством, той, которую так несложно оказалось усвоить, освоить, с характерным для нас умением тут же, сразу, переосмыслить, подогнать под мерки свои, жизнью – гидрой, химерой, мнимостью, не годящейся, на проверку, чтобы жить по её законам столь недавно ещё – советским, а теперь – эсэнгэшным, российским, украинским и прочим людям, чтобы жить не явью, а просто имитацией то ли яви, то ли так, непонятно чего, бестолковщины, да и только, – но уже надышались дурманом, напитаться успели яда, всех запретных ранее, сладких, но с горчинкой, плодов, то ли райских, то ли адских, поди разберись в кутерьме повальной, вкусить, и явилось, во всей красе парфюмерной, псевдоискусство, и подобье литературы неизвестно когда расплодилось, и буквально целые армии стихотворцев, шаблонных, безликих, безголовых и безымянных, развелись, на пустом ли месте, на безрыбье ли, среди разрухи и разброда, среди новой мглы, где зажглись, вместо тех, небесных, всем привычных созвездий – галактики бесконечных, как тягомотина с пепси-колой и жвачкой, рынков, – и ушли, отодвинулись в тень, кое-кем позабылись даже достижения наши былые в настоящей литературе, в настоящем искусстве, в нашем, а не чьём-нибудь там, искусстве, в нашей, кровной, литературе, столько долгих десятилетий непрерывно гонимой, но – выжившей, уцелевшей, навек сохранившей и дыханье своё, и свет, настоящей, вовсе не мнимой, не для всех, не для масс, пусть – для избранных, понимающих, что к чему, настоящей, иначе – подлинной, настоящей, неувядаемой, прорастающей сквозь года, создаваемой – навсегда, признаваемой как призвание, как горение, как дарение людям, ждущей от них внимания, понимания, озарения, устремлённости – к свету, к чуду, к постижению движенья речи, – не затем ли в молчанье всюду зажигают ночами свечи настоящие, да такие в наших грустных пределах есть, тоже выжили, уцелели, несмотря ни на что, читатели, наши самые дорогие, пусть неведомые, порою, но вернейшие, всё же, друзья), – ну так вот, подчеркну опять, говорить разумней всего и проще намного сегодня: другая литература, другое искусство, другая культура, – такой вот всех примиряющий термин, предложенный – повторяю, поскольку слышал это я однажды в Москве от него самого – Сергеем Ивановичем Чуприниным.

По крайней мере, уж это по-русски всё-таки сказано.

И важнейшую эту деталь, а точнее всего – камертонный, пусть на время, покуда головы как-то разом не просветлеют у людей наконец-то, звук, пусть ещё глуховатый, но всё же тон всему задающий звучанью предстоящему, нарастающей и грядущей музыке всей, строю, ритму, движенью, пластике всех возможных определений, толкований решительно всех, из которых когда-нибудь, несомненно, ещё появится долгожданная и чеканная, лучезарная, светлая формула, я опять-таки не случайно, а сознательно, даже больше, из упрямства, и – по чутью, по наитью, поскольку в них-то и таится зерно, из которого к свету нужный росток пробьётся, чтобы в рост устремиться, подчёркиваю.

Почему? Это как – почему? Что за странный вопрос! Нет в нём надобности, ни малейшей. Да потому, что это, поймите, поверьте мне, крайне важно, жизненно важно. Как воздух, необходимо.

Уж простите меня, читатели дорогие, за тысячи раз всюду употребляемое всеми кому не лень и вроде бы нынче вконец заезженное выражение.

Однако – именно так. И никак не иначе. Как воздух. Нужный – для жизни слова. Поскольку слово должно, раз уж это русское слово, жить в стихии речи родной.

А то, представьте себе, этакое, разэтакое, невесть что, да и только, словно сварганенное в Голливуде мастерами по спецэффектам, – то ли залётное, жуткое инопланетное чудище, то ли земной мутант, – пучится криво, по-рачьи, тычется в горло клешнями по-крабьи, при этом вопя истошно, как будто бы «чёрт!» бесконечное и назойливое, из штатских боевиков, неожиданно превращая в небывалое:

андегр-р-раунд!..

И едва успеваешь порою отмахнуться от наваждения поскорее, про-
бормотав, по традиции:

чур меня, чур!

Да, подарочек – ну хоть куда.

Что с ним делать? Как быть?

И всё же...

Почему тогда, почему же, объяснит ли кто-нибудь, именно оно, это вроде бы чуждое, вне всяких сомнений навязанное нам, наивным и одержимым, нам, романтикам, идеалистам, русским людям, таким, как-
ковыми уродились, таким, как есть, ни убавить и ни прибавить, пере-
делать нас невозможно, принимайте нас всех таковыми, вот мы, все, на
виду, словцо, пробуждается вдруг в духовной глухомани пятидесятых,

пробивающимися настойчиво сквозь глушилки и щели в занавесе,
том, железном, несокрушимом, всем казалось, прочно сработанном,
не Левшами, конечно, другими, тоже классными специалистами, по
приказу кремлёвских властей, почему-то для всех убедительными го-
лосами радиостанций чужеземных, всей мощью освоенного до по-
следнего миллиметра, переполненного свистящими и шипящими по-
зывными, новостями, разоблачениями, обличениями, обобщениями и
подробностями, эфира, и запретным, с едкой горчинкой, с холодком,
по хребту сквозящим, с пересохшим горлом, с обилием возникаю-
щих столь стремительно, что не знаешь, куда их девать, воспалённых,
мятущихся мыслей, с тенью страха вблизи, за стеной, с ощущением
личной отваги, личных новых открытий, личной, безусловной, новой
победы над всеядной, повальной ложью, с каждым новым, отнюдь
непростым, шагом к правде, к честности, к вере, гипнотическим, сла-
достным шелестом самиздатовских, притягательных для любого из
нас, для всех, если проще сказать, страниц отзывается из крылатых,
несмотря на то что пытались эти крылья подрезать, смелых и пытли-
вых шестидесятых,

налетевшим с запада, пряным, незаметно пьянящим, дразнящим,
возбуждающим, притягательным, наркотическим ветерком слишком
смутно, так, по верхам, представляемой нами свободы и видениями
заморских, фантастических, невозможных столь недавно, почти нере-
альных, но теперь обретших реальность, существующих в мире и даже
достижимых, кажется, стран томит, а кого-то и мучает, тянет к себе, при-
зывает вырваться в ним, увидеть собственными глазами, что же в них
есть такое особенное и в чём же отличие их от нашей многострадаль-
ной страны советской, в семидесятых,

всеобщей надеждой на некие желанные изменения к лучшему, пусть
это лучшее расплывчато и туманно, и многое под вопросом, и нет ни-

каких оснований считать, что действительно лучше станем жить мы, и всё утрясётся, перемелется, позабудется, прояснится, то слабо брезжит, то с неожиданною силой вспыхивает, разгораясь подобьем зарева над странюю, в восьмидесятых, –

и, наконец, магической дудочкой крысолова, расслышанной всеми вовремя, влечёт за собой в девяностых, –

дабы выйти нам всем, взявшись за руки, разом, из темноты к свету, явиться в мир – из родимых привычных берлог, из обжитого подполья, из прокуренных подземелий: вот и мы, приветствуем вас, не обессудьте, земляне, принимайте нас поскорее такими, какие мы есть, со всеми нашими русскими особенностями и странностями.

Непростое словцо, действительно.

Выходит, что непростое.

Загадочный код земного, отечественного, знакомого достаточно хорошо, чтоб считать его можно было нам, по-свойски вполне, своим, обжитого, русского времени и общего, планетарного, неведомого, существующего с неизбежностью всею, пространства, со всеми возможными тайнами и упованиями всеми, заключён в нём, никак не иначе.

Ещё ведь, ну и дела, и не названо по-человечески, ещё и русского имени, так-то, братцы, не получило, – а поди ж ты! – с места в карьер начинает работать, старается, обнаруживает свою нешуточную энергетику.

А всё, собратья мои, товарищи дорогие по скитаниям и сражениям, одержимые общим служением речи нашей родной, которой равной в мире подлунном нет, потому, что, произнося крутоватое это словцо, через силу произнося, будто и не говорим мы, а, допустим, вместе мычим, ощущаем мы подлинность, правду, заключённую всё-таки в нём, кожей чувствуем всею, хребтом, и никуда от этого нынешнего ощущения не денешься, потому что это выстрадано, это – наше, наш, немалый, жестокий опыт, наша жизнь, земная, дарованная нам, чтоб свет в ней сберечь, наше творчество.

Кто же мы? Кто мы такие?

Мы – люди неофициальные.

Мы – другая культура, другая совсем, не советская вовсе, слава Богу и слава судьбе, слава речи родной, но – русская.

Из другой мы, как говорится, оперы. Из другой, да, другой совершенно, странной, для кого-то, ну что ж, пускай так считают, не всё равно ли, если было всё именно так, пусть и трудной, скрывать здесь нечего, но зато и прекрасной жизни.

Я – из другой, не вашей, а нашей, литературы, – как с другой, кому-то известной, а кому-то неведомой, дальней, хоть и рядом она, рукою дотянуться можно, планеты.

И Коля Шатров, и Губанов Лёня, и Ворошилов Игорь, и Величанский Саша, и все остальные, считанные, хоть и было всех нас довольно много, избранные и призванные, словом, навеки – наши...

Конечно, куда привычнее и проще теперь говорить, кому приспичит, любому, и старому, и молодому, и критикам, и поэтам, и писателям, и художникам, разномастным, в наши-то дни, с бестолковщиной их повальной, с узаконенной неразберихой, с их понятиями, перемешанными, перепутанными, подменёнными неизвестно чем, с их бредовой

имитацией прежних, когда-то, в годы страшные, сделанных теми, чьи заслуги не спрячешь, открытый, – неофициальные, так, и никак не иначе, и в давние времена, и в нынешние, так сложилось, литература и искусство, неофициальная, так уж вышло, сограждане, помните и в грядущем об этом, культура.

Пусть, эх, что там, была не была, слово вспыхнуло, даже – подпольные: романтичнее, согласитесь, и таинственнее, – хотя, впрочем, слишком по-заговорщицки, с отголосками всех революций, как известно, кровавых, звучит, – а, значит, а то и значит, да то и значит, вы вслушайтесь в это слово, в смысл его вдумайтесь хоть разок, не совсем то.

Подспудная, подземельная – ничего себе определение, так и хочется взять то фонарь, чтобы что-то вокруг разглядеть в темноте непроглядной, крошечной, то лопату, чтоб рыть себе лаз и наверх прорываться, хоть лучше бы с Ариадниной нитью в руке выбираться из лабиринта к свету, к людям, к природе, – культура?

Ну, это уж, братцы, и вовсе какое-то «из-под глыб»!

А может, чего там, стоит ли гадать да ломать себе головы, и без того усталые, всё-таки авангард?

Но что это – что за зверь, что за птица, что за субстанция, что за сгусток энергий, кипящий новойявленной плазмой, – такое?

Опять-таки толком никто сроду не объяснит.

Речь идёт о нашей стране.

И она, как известно многим, а может быть, даже, и всем землянам, на протяжении долгих тысячелетий, за которые мы, увы, чего только не наслушались о себе, совершенно, представьте, решительно не похожа на другие, со всех четырёх сторон поступательно, плотно обступившие нас, окружившие, и пытающиеся, особенно в последнее десятилетие ушедшего века, а также в начале нового века, свысока, в основном, с высоты демократии и свободы снисходительно, с едким прищуром всё поглядывая на нас до вздыхая о нас, заблудших, неразумных и бестолковых, несговорчивых, гордых, упрямых, этак вроде бы миролюбиво, по-отечески прямо, участливо, вразумлять нас, таких-сяких, напроказивших, набузивших, не желающих признавать и грехи, и ошибки свои, чуть ли не по-матерински журить и почти по-братски наставлять нас на путь, по их, не по нашему вовсе, мнению, вот что сразу в глаза бросается, настораживает, заставляет поневоле задуматься, истинный, имеющие, не без этого, понятное дело, свои характерные, скажем так, особенности и собственные взгляды на жизнь, хорошую, размеренную, наверное, подконтрольную власти, с денежной лихорадкой в жидкой крови, разбавленной аспирином, сытую, и на искусство, но всё равно ведь – иные, не нашенские, «немецкие», как и давным-давно, в старину, с её трезвым суждением о природе вещей и явлений, те, где не мы живём, а совсем другие народы, те, где почвы родной, насущной, помогающей выживать и дышать в любых обстоятельствах, нет для русского человека, те, в которых нет речи русской, чужие, совсем чужие для нас, а ежели даже и географически близкие – всё одно для души и для сердца слишком далёкие страны.

По мне, так уж лучше всего – найти, пускай и намучившись с этим поиском, верное слово.

А то парадокс получается. Очередной, на отечественной, ко всему-то привычной, почве.

Смысл и суть слова, в общем, – ясны.

А имени своего у слова – доселе нет.

Господи, осенило бы хоть кого-нибудь, что ли, однажды, – так, как когда-то – Губанова, со словом, девизом, призывом, кодом, кличем, ключом, паролем, набатом, символом, определившим путь всей нашей плеяды, – СМОГ!..

И, тем не менее, раз уж корёжащее, нарушающее привычную артикуляцию словцо уже внедрено – временно – в нашу речь, придётся, морщась, конечно, и сквозь зубы, само собой, да ещё и с вызовом вечным боевым, врождённым, открытым, поигрывая желваками на обветренных, выжженных зноем, холодами прихваченных, крепких, азиатских, упрямых скулах, его иногда, что поделаешь, пусть нечасто, употреблять.

Андеграунд, наш, на отечественной почве, на почве, нам хорошо знакомой, родной, – сознательно повторяю, что именно русский, на ней, на нашей с вами, сограждане, порою ещё целинной, а порой и возделанной почве, а не где-то там, за морями, в благополучных странах, – явление чрезвычайно сложное, уж поверьте мне, полное, впрямь под завязку, противоречий всяческих, на удивление пёстрое, разнородное и разношёрстное.

Всякой здесь твари по паре.

Наряду (так, видно, давно уже повелось, и в этом, что делать, есть какая-то закономерность, неминуемая, досадная, вопиющая, столько лет привносящая в нашу среду хаотичность, изрядную путаницу, нарушение понятий и правил, бестолковость и суету, словно вирусов разных, мутирующих моментально, в любую эпоху, только б им расплодиться скорее, ну а там будь что будет, нашествие) с подлинными творцами – предостаточно, просто девать их некуда, так и роятся, мельтешат, раздражают, нагледят, набиваются и в друзья, и в соратники, тут же цепляясь за любую возможность как-то проявить себя, утвердиться, разгуляться, заматереть, лишь мнящих себя таковыми.

За полвека столькое, прямо вам скажу я, без церемоний, без намеренных скидок на что-нибудь примиряющее, стирающее незаметно углы и грани, для порядка, или в угоду неизвестно кому и чему, без оглядки на чьи-то мнения, рассуждения и догадки, в коих чувствуешь жёсткость хватки, дирижёрской палочки взмах, лишь бы вызвать брожение в умах, поддержать его и продлить по возможности долго, чтобы разобраться было труднее в том, что ведомо нам давно, в том, что, птицей влетит в окно, если надо, поскольку правду никому ведь не утаить, с нею надо считаться всем, в том числе и различным умникам, толкователям и гадалкам на кофейной гуще, радетелям за какое-то панибратство, не иначе, в искусстве нашем, в нашей, трудной для неофитов и любителей помолоть языками, литературе, запуталось и, завихряясь, туманясь, переплелось, что грядущим, вполне возможным, исследователям, надеющимся знатоками прослыть когда-нибудь постигаемого с трудом всеми, оптом, взаимодействия разнородных стихий, энергий, измерений, времён, пространств долго ещё придётся добираться, кряхтя, до сути.

Это явление дивное, совершенно оригинальное, потому что – своё, незаёмное, со своими, лишь так, достоинствами и своими, увы, недостатками, взлётами и падениями, поисками и открытиями, и уж точно,

в этом сомнения не должно быть у всех, – небывалое, – на Западе нет и не может быть у него никогда ни отдалённого даже, пусть и крохотного, подобия, ни, тем более, двойника.

Наша неофициальная отечественная культура, быть может, задумана свыше была, вполне вероятно, что было всё именно так, начиналась и развивалась – я сознательно повторяю и подчёркиваю всегда эту верную, ежели вдуматься, и правдивую мысль, – как новый, русский, ставший в двадцатом столетии неминуемым, Ренессанс.

Как обошлась жестоко с нею, с культурой, то есть хранительницей духовности, спасительницей души, советская, с кумачовыми знамёнами над страной, от запада до востока, от севера и до юга, куда ни взгляни, действительность – всем нам хорошо известно.

Это трагедия, равных которой в зримой для нас, прожитой нами, выстраданной послевоенной истории страны – ведь губили, гноили, топтали, травили, давили, рушили, выжигали, изничтожали, по-вражьи, в раж и во вкус войдя, с остервенением, даже с наслаждением изуверским, с пунктуальностью запредельной, с монотонностью механической, непрерывной, бесперебойной, не что-нибудь там, а культуру, духовность свою! – немного.

Изломанные, изувеченные, печальные, страшные судьбы, исковерканные биографии, изнурительная борьба, год за годом, за выживание, постоянные, видно, по плану, по команде, вестимо, по графику, по спискам, с доносами сверенным, одобренным сверху, преследования со стороны властей, донельзя, вконец, да так, что страх поселялся в домах жильцом, прописанным здесь надолго, может – навечно, изматывающая всех, кого ни возьми, ни вспомни, не целыми днями вовсе, но целыми десятилетиями, всю жизнь, коль на то пошло, неопределённость, условность самого, куда ни взгляни, уязвимого, человеческого, беззащитного, бесправного существования в таких безнадёжных условиях, риск, игра со смертью, повальная нищета, сплошные бездомницы, аресты, допросы, слезка, процессы над инакомыслящими – неминуемо задевающие и искусство, психушки, ссылки, милицейский и кагэбэшный, регулярный, всеядный надзор, отчаяние, алкоголь, невозможность свободно дышать, с великим трудом обретаемое душевное равновесие, запреты, втихую, но жёсткие, исполняемые старательно, со рвением и усердием, на издание, во пределах, русских, родных, поэзии и прозы, на выставки живописи, на исполнение музыки, – и, в противовес, вопреки этому многолетнему, нескончаемому кошмару, – становление духа, неистовая творческая работа, взаимопомощь, налаженная, бесперебойная связь с единомышленниками, интенсивное, замечательное, не заменишь его ничем, на высоких тонах, общение, выработанная в бурях, отчеканенная в невзгодах, кристаллов цельнее и чище, закалённее стали, своя этика, не позволяющая идти на уступки, участие золотых, надёжных друзей, пристальное внимание соратников по среде к сделанному тобой и сделанному другими, отсутствие, напрочь, цинизма и эгоизма, жертвенность, высокое, высочайшее горение, понимание творчества как прорыва вперёд, в грядущее, к звёздам над миром, а то и как подвига, то наивность, то ясная трезвость в оценке той ситуации, в которой мы все оказались, гордое осознание собственной правоты и собственной, личной причастности ко всей одарённой когорте, к общему делу создания нового, только так, своего, навсегда, искусства, редкостная сплочённость и единство всей

этой буйной, колоритной, мятежной братии, чуть ли не государство в государстве, вроде воинственной, вольнолюбивой, могучей, независимой Запорожской Сечи, с тем уточнением, что принимались в неё не только мужчины-воины, но и женщины, тоже воительницы, с богемным образом жизни, со своими, лишь так, понятиями о чести и о достоинстве, особенностями пытливого, своенравного, пронизательного мышления и поведения на людях и в быту, своеобразной, искренней рыцарственностью, верностью идеалам, легендами, нравами, собственным стилем одежды, пристрастиями, привычками, шкалою ценностей, речью, с высоким штилем и сленгом, способами добывания необходимых средств, так мы их называли, помню, к существованию...

Вот что более чем очевидно, даже на первый взгляд.

Ну а лучше всех, то есть верно, по Хлебникову, до точки, опыт весь призвав свой немалый, для поддержки, по-настоящему, понимает это лишь тот, кто и сам в нашей шкуре когда-то, в дни эпические, лирические, в годы прежние, побывал.

Отечественный андеграунд – явление, или творение наше, или горение, или же, как и сказать об этом, толком не знаю, как обобщить мне это, выразить точно и кратко, из ряда вон выходящее нечто, не только российское, но, следует помнить, общее для всей огромной былой Империи, произросшее на всей огромной, избыточной, чудовищной территории бывшего, упразднённого, за ненадобностью, в угоду неизвестно кому, Союза, – отсюда его многослойность, многомерность, вариативность, я бы сказал, что даже полифоничность, вот именно, как в музыке, если прислушаться к общему, состоящему из множества элементов, тонов и полутонов, звуков и призвуков, стройному, слаженному звучанию.

Создан он был, не сразу, разумеется, но постепенно, с течением лет, служивших почвою для него благодатной, самыми разными людьми, буквально великим, (здесь не место подсчётам дотошным из области математики, но не жизни конкретной), множеством людей, – причём, не забудьте, пожалуйста, запишите себе, для памяти, на заметку возьмите, среди его создателей, это важно, для вас, отметить, были не только поэты, прозаики, живописцы, композиторы, барды, актёры и так далее, но и те, кто слушали наши тексты на всякого рода чтениях – квартирных, частых, привычных, и более редких, бывших событиями, в институтских, переполненных до отказа, и в библиотечных залах, кто читали и перечитывали тексты эти с листа, заучивали наизусть, а потом в самиздате их охотно распространяли, кто бывали, время от времени, в мастерских у художников левых и видели там, а то и на выставках кратковременных, живопись их и графику свежую, те, кто случали на полуполюгальных концертах авангардную музыку сложную или всеми любимый джаз, ценители наши, поклонники, собиратели, обожатели, друзья, подруги, приятели, пропагандисты ярые нашего творчества, жертвенные, вдохновенные, незабвенные, люди самоотверженные, искренние, живые, дорогие навек, те самые, которых стало теперь так немного, увы, – те, кому необходимо было и крайне важно всегда всё то, что когда-то мы, их поэты, именно их, и художники, и композиторы, их любимцы, их вдохновители, современники их, создавали.

Сформировалась, как-то незаметно, сама собою, а может, вполне вероятно, по желанию высших сил, почему бы и нет, уникальная, иначе

не скажешь, как там ни пытайся сказать попроще, подступней теперь, среда.

Помимо поэтов, писателей, художников и музыкантов, то есть людей сугубо творческих, личностей, жаждущих проявиться и состояться в этих, таких различных, но в то же время и родственных, несомненно, духовными нитями связанных областях, в неё, как свои, на равных, на таких же, общих для всех, условиях и правах, входили и правозащитники, и священники, и техническая, жадно тянущаяся к искусству русская интеллигенция, и студенчество, и колоритные, самобытные, иногда поразительно яркие люди из самых различных слоёв тогдашнего, пусть и советского, не всё ли равно теперь, как его называть, ведь другого тогда и в помине, вот что, просто не было вовсе, общества.

Было кому показать то, что ты сделал недавно.

Чаадаев не зря говорил: «Слово звучит лишь в отзывчивой среде». Заметьте: отзывчивой. Той, которая отзывается на звучащее слово. То есть – не просто из любопытства или из праздности, что ли, или же, может, из вежливости, нехотя, слову внимающей, но – конечно же, образованной, не случайной вовсе, но – избранной, и внимательной, и понимающей.

Лучше, пожалуй, не скажешь.

Поэтому и большая серия книг моих воспоминаний, вернее, моей, необычной, как нынче знатоки считают, весьма своеобразной прозы, над которой так много я работаю, называется «Отзывчивая среда».

Как теперь, в наши дни, по прошествии времени, отшумевшего незаметно, к тому же немало, вон их сколько, десятилетий, где-то там, позади, за гранью века, трудного для души и для сердца, бурного, страшного, но родного, нашего с вами, вот что нам забывать нельзя и среди нынешнего междувременья, и в грядущем, если, даст Бог, доживём до лучших времён, определить, когда, как и кем был создан и выстроен в уникальную то ли систему, то ли звёздную россыпь, то ли человеческую, земную, но с небесной защитой, общность разных личностей, разных судеб, разных, в общем-то, биографий, достижений разных, и в слове, и в других искусствах, единый, между тем, для всех нас, особенный, не вмещающийся ни в какие рамки, рвущийся на простор из застенков и из подвалов, прорывающийся сквозь сумбур городской и кремлёвский гнёт к свету, к людям, наш андеграунд?

Может, он был всегда, всюду, на протяжении всего двадцатого, толком не осмысленного, столетия, а может, поди разберись теперь в едва различимых, но доселе живых истоках, он существовал и раньше.

Литературные и художественные течения и группы начала века (акмеизм, футуризм и так далее), обилие всяческих, пёстрых, долговечных и кратковременных, движений, объединений, сообществ, кружков, столичных, а также провинциальных, их расцвет, в двадцатых годах, – это, в немалой степени, тоже ведь андеграунд.

Но он ещё и осознанное, упорное, сквозь невзгоды со стиснутыми зубами, с желваками, с певчими горлами на вселенском диком ветру, в непогоду, среди бездомниц, нищеты, житейских нелепостей, толкотни вокзальной, привальной, с костерком ночным, передышки перед новым рывком вперёд, в путь под звёздами, предначертанный не случайно, и с честью пройденный, с холодком рассветным отчаянья, со свечой извеч-

ною чаянья, со свершениями желанными, с обещаньями счастья туманными, с беспросветной тоской, с просветлениями, озарениями, прозрениями, серебром седины, всеобщее, наше, братья, противостояние.

Тут сразу же вспоминается Мандельштам, прозорливец, скиталец, страдалец, судьба которого, сквозь время, сквозь поворот незримой спирали космической, сравнима с судьбой Шевченко, изгнанника и провидца, и обэриуты – Хармс и Введенский, и Заболоцкий, и Шаламов, – и вот уже выстраивается, растёт, расширяется звёздный перечь имён, без коих невысказана отечественная культура.

А что такое, скажите мне, мистическое, провидческое творчество, многолетнее, без малейших надежд на издание, хоть когда-нибудь, в жутких условиях, в одиночестве беспросветном горьких дней, Даниила Андреева, если не андеграунд?

А судьба и творчество Анны Ахматовой, гордое, мужественное, с двадцатых до середины пришедших шестидесятых?

А долголетнее, тихое, упорное, вопреки любым катаклизмам, творчество Евгения Леонидовича Кропивницкого, подмосковного затворника и учителя многих славных людей, создавшего, в яви нашей, школу свою?

А над бедами поднимавшее, бескомпромиссное творчество Филонова и Малевича, Татлина, Фалька, Фонвизина?

А Шостакович, с его твёрдым сопротивлением, в музыке, в жизни, жестокому, беспощадному часто, режиму?

А вся история с «Доктором Живаго» – вначале с долгим и мучительным сочинением романа и поступательным, но решительным всё же внедрением текста машинописного в сознание современников (я видел своими глазами пастернаковскую записку, позволявшую, в пятидесятых, одному из моих знакомых получить роман для прочтения, и сам этот акт сознательный, этот жест, широкий и щедрый, – мол, пускай молодёжь читает самиздатовскую, тогдашнюю, второй экземпляр или третий, разберутся, перепечатку, – говорит, безусловно, сам за себя), а потом и с изданием, вынужденным, на Западе, своего, знаменитым ставшего в одночасье, многожды изданного, сокровенного произведения?

Список можно и продолжать, потому что мгновенно, тут же, по вспышке, так я подобные состояния называю, возникают, вдруг, параллели, сопоставления, нити, незримые, прочные, сразу же протягиваются от автора к автору, от читателя к слушателю, от слушателя к зрителю, – и возникает, укрупняется, всё растёт понятие андеграунда, такое, как мы, живущие в начале столетия нового и едва проводить успевшие столетие предыдущее, себе его представляем, – каждый, впрочем, по-разному.

Николай Шатров (не слышали? ничего о таком не знаете?) – замечательный русский поэт, и десятая доля наследия которого так и не издана до сих пор почему-то, – вот уж стыдобища для просвещённых соотечественников, ценителей драгоценной поэзии русской! – только я и делал на родине, в меру сил своих и возможностей, публикации в разных журналах, публикации, из которых целый сборник уже наберётся, – ну и слава Богу, – хоть так, пусть читают живое слово, –

Шатров, говорю я с грустью, вспоминая вновь Николая, человек небывалый поистине, по культуре своей, по развитию, по духовности ясной своей, человек просветлённый, особый, ибо дар его был –

осиянным, ибо люди, ему подобные, столь редки и неповторимы, – ещё во второй половине сороковых годов и в начале пятидесятых, живя вдали от Москвы, в провинции, в глухомани духовной, писал стихи такой небывалой силы, каких, помимо Ахматовой, Заболоцкого и Пастернака, относившегося к Николаю, замечу здесь, с восхищением и неизменным почтением – несколько позже, когда, наконец, они познакомились и даже, представьте, сдружились, в то схлынувшее в былое навеки, грустное время в России никто не писал, –

но думал ли он когда-нибудь, что это и есть андеграунд?

И знал ли он вообще такое слово? Помилуйте, откуда? Конечно же, нет.

Однако, поэт настоящий, это знающий сам, без подсказок и мнений чьих-то весомых в придачу, он жил, он работал.

Вот так, мой читатель, жаждущий разобраться во всём, украсить вариациями своими, словно в музыке, музыке жизни, прежде времени, скромно звучащую, без фанфар и литавр, многотрудную и без этого грохота, тему, всю в бемолях сплошных, в миноре, в основном, но с мажорной основой, вот что странно, не правда ли, тему, дорогую для сердца, мою, а не чью-нибудь там, то есть кровную, тему личную и трагичную, не без лирики, с примесью эпоса, как обычно я говорю, поясняя что-нибудь нынешним любителям старины, которая, между прочим, права была часто, по-своему, и которую вам осмыслить придётся когда-нибудь, то островками, то порознь, где-нибудь в безнадёжной глуши, на отшибе, да и в столичных коммуналках, – да мало ли где! – создавался, существовал наш отечественный андеграунд.

Время потом всё равно собрало всех в единый сгусток, дало возможность общаться, работать и видеть воочию результаты этой работы.

Остался ли андеграунд в безвозвратно ушедшем прошлом – или, вполне возможно, живёт он и в настоящем?

Да никуда, поверьте на слово мне, он не делся.

Куда ему исчезать? Что за надобность? Что за поспешность непонятная? Что за причуда? Что за прихоть, в конце концов?

Театральность какая-то, право, бутафория, с бархатным занавесом, с устаревшими вдруг афишами, с извещением о закрытии гастролей или сезона, с отзвучавшими и забытыми до поры до времени драмами и трагедиями, оставшимися разве только в памяти зрительской да в актёрском репертуаре, в бестолковом предположении этом, тут же заглошем, есть.

Исчезновение – мнимость. Условность. Прочерк рассеянный, сделанный кем-то чужим, посторонним, растяпой, ленивцем, давно и привычно скучающим на службе, в тексте, которому жить да жить ещё, без таких вот, ни к селу ни к городу, прочерков, жить да жить, пережить поколения, позабыться, на время, чтобы, разом вспомнившись, оживая, возвратиться, уже навсегда.

Зачем ему пропадать? В каких, скажите на милость, неизвестных, дальних краях? За горизонтом, что ли?

Пропажа – словно продажа. В рабство, может быть? На галеры? Куда ещё? Пропадать – так с музыкой? Тоже бред.

Пропажа – словно поклажа. Тяжёлая. Тяжелее тоски, например, матёрой. И то ведь: была – и нет.

Андеграунд же, пусть не по-русски называется он, пока что, ничего, потерпим, когда-нибудь имя русское он обретёт, – присмотритесь –

здесь и повсюду, жив-здоров, да и вам того же пожелать в любую минуту, дружелюбно вполне, готов.

Как в минувшем существовал, так и ныне он существует.

Разумеется, безусловно, я не спорю, само собой, как и всё абсолютное в мире, андеграунд, конечно, меняется.

Новое поколение – понимает его по-своему.

Ну а мы-то, старая гвардия, – понимаем его по-своему.

Каждый так его понимает, как умеет. И каждый – прав.

И любому он, при желании, свой характер покажет и нрав.

Следует помнить о том, что слишком уж многих соратников наших нет, как ни горько с годами осмысливать это, как ни трудно с этим смириться, как ни грустно без них, в живых.

Что ни плеяда, что ни компания – всюду зияния. Выбыли.

Были в когорте – и выбыли.

Нет их. Люди ушли.

Те, кто выжили чудом, – держатся.

Сызнова надо – выстоять.

Сколько помню себя – выживаю.

И – держусь. И – стараюсь выстоять.

Будучи верен давно уже, не от хорошей жизни вовсе, и не от блажи, не по прихоти, не по причуде какой-нибудь, но по причинам разным, вполне серьёзным, выработанной этике, никому себя не навязываю.

Знаю, что тексты мои всё равно, вопреки преградам и нелепостям всяким наших свободолюбивых дней, превращающихся незаметно в друг за дружкой куда-то идущие, а куда же, да кто его знает, кто подскажет и кто увидит их отток, может быть, в никуда, в пустоту, а возможно, к высотам новым, радужным, долгожданым, подуставшие, битые, тёртые и выдавшие виды годы, будут изданы, даже при жизни, не такой, как у всех, моей, непростой, заковыристой, личной, беспокойной, отнюдь не тепличной, но ветрами всеми эпохи неспроста, полагаю, овеванной, драгоценной, творческой жизни, жизни-песни, да, именно так, жизни-сказки, жизни-легенды, жизни жуткой, жизни прекрасной, жизни взрывчатой, огнеопасной, трудовой, поскольку тружусь я, неизменно, упорно, всегда, и горит надо мной звезда, и лежит предо мною путь, и ясна мне порою суть бытия, и вселенной весть, а загадок и тайн не счесть, как и прежде, и новизна яви нашей щедро сполна, почитаема свято правь, и её ты со мною славь, и открыты мне глубь и высь, и созвездья свечей зажглись в память прошлых суровых лет, и в грядущем я чую свет негасимый, – тексты мои, тексты, будем их так называть, и стихи, которых я столько написал, что хватило бы их не только на мост до серебряного месяца, как говорил Хлебников, но и дальше значительно, до Венеры, пожалуй, и проза моя, непохожая ни на кого, необычная, и по пластике, и по ритмам, и по структуре, проза – музыка, проза – поэзия, со своею полифонией и гармонией, со своим стилем, строем, дыханьем, законами, всё, что я написал и, надеюсь, верю, впредь написать сумею, будут изданы и прочитаны.

Знаю твёрдо – правду свою.

Разумеется, как же иначе, ничего не поделаешь, так всё сложилось давным-давно, и нельзя ничего теперь, как ни бейся, переиграть, да и незачем это делать никому, ни мне, ни другим, даже с лучшими

побуждениями, потому что, здесь нет секрета никакого, и нечего умные или в меру практичные головы понапрасну ломать, не старайтесь, ничего не выйдет у вас, обойдётся всё без прикрас, без надуманных параллелей, без ненужных и глупых сравнений, надо ль сравнивать, ведь живущий несравним, как сказал поэт, всё хорошее в жизни бывает, как и встреча в романсе старинном, только раз, единственный раз, я и раньше себя относил, что любому, надеюсь, понятно, и доселе себя отношу к своеобразной, но подлинной, вот что важно помнить, культуре нашего андеграунда.

Каково моё положение ныне? Что ж, об этом – скажу.

Ощущение: приближения – к небывалому рубежу.

Состояние: сплошь – рабочее. Трудовое. Труды и дни.

Вижу: время теперь – охочее до других. Я давно – в тени.

Я – затворничаю. Сознательно. Я живу – от всех в стороне.

Только звёзды смотрят внимательно на меня. Да луна в окне.

Только море со мной бескрайнее, как и прежде, накоротке.

Ничего в этом нет случайного. «Я один, и перо в руке».

Так сказал Гумилёв. Одиночество, как и творчество, днесь со мной.

И провидчество, и пророчество – здесь, вот в этой глуши земной.

Речью русскою, исцеляющей от страданий и бед, я жив.

Речью, исстари возвышающей всё, что пел, от людей не скрыв.

Когда меня, почему-то, в течение четверти века не издавали на родине, был я в неофициальной русской культурной среде очень известен, и даже – это было со мной – знаменит.

В эпоху, невероятную, для нынешних поколений, для нового, незнакомого, или, может быть, полужнакомого, на всех нас ни в чём не похожего, с примесью слова расхожего, с печатью нового быта, вместо скудных даров общепита советского, на молодых, без морщин и без шрамов, лбах, но с обильными татуировками на теле, свежего племени, в эпоху, можно сказать, мифическую, героическую, из былин, из легенд, из преданий глядящую прозорливо и пытливо сюда, на всех существующих, по выражению Толи Зверева: «я не живу, я существую», и всех живущих всё-таки, то есть осознающих себя живущими, самиздатовскую, поистине фронтовую, родную для нас, грозную, читателей у меня было, и это ведь было, предостаточно, как и слушателей.

Жил я тогда, скрывать нечего здесь, очень трудно, временами настолько трудно, что казалось, труднее уже не бывает просто, ни с кем, в том числе и со мной, но всегда, очень много, в любых обстоятельствах, даже самых жестоких, работал.

У меня было самое главное, неотъемлемое, очевидное и бесспорное, для людей окружения моего, для знакомых и незнакомых, знатоков поэзии, или же просто скромных любителей слова, дорогого для них, живого, пусть неизданного, не беда, ведь оно-то придёт всегда к человеку само, придёт, сквозь несчастье, и страх, и гнёт постоянный, сквозь сонм преград, и ему будет каждый рад, и оно приходило встарь, и горел среди дня фонарь, и горела свеча в ночи, и звенели впотьмах ключи, открывая за дверью дверь, и спасти от любых потерь нас общение вновь могло, словно вставшее на крыло над просторами всей страны, где стихи позарез нужны были в годы, когда брала в окружение души мгла, но, в

бессилии озверев, исчезала среди дерев, растворялась, клубясь, вдали, уходя в никуда с земли, пропадая, сходя на нет, и высокого слова свет побеждал, уж в который раз, всё дурное, чтоб слёз из глаз понапрасну, зазря не лить, прозревая, а значит – жить, быть всегда самими собой, петь, дышать, не спорить с судьбой, ибо линии судеб вновь приводили с собой любовь, и надежду, и веру, впредь призывая смелей смотреть и в грядущее, и вокруг, вот и рос магический круг, или дружеский, или тот, что в бессмертье потом войдёт, чтоб духовную в мире нить протянуть и всегда хранить всё горение наше там, где небесный возникнет храм на крови людской, на земной почве древней, для всех одной, – у меня было самое ценное из всего, что могло только быть у поэта, скитальца, любимца человеческих добрых сердец, им дарящего речь свою щедро, всем, везде, у меня было – имя.

Под настроение, или же, чаще всего, когда-то, в молодости, от безвыходности, мог я приехать в любой город страны, и крупный, и небольшой совсем, провинциальный, тихий, в глухомань какую-нибудь, в райцентр, – и меня там знали, и принимали там, охотно, порою – надолго, что бывало, конечно же, кстати – наконец появлялась возможность отдышаться прийти в себя, пообщаться с единомышленниками, – и потом, с Божьей помощью, снова за труды свои браться – то есть писать, и стихи, и прозу, – те книги, а их немало, где давно уже сказано всё – о себе, таком, каков есть, и о времени, горьком – и всё же драгоценном, прекрасном, чистом, и не чьём-нибудь, а моём.

...Шелестели жёлтые листья под ногами, похрустывал снег в гущине лесной, таял иней по садам, клубилась над шляхом, поднимаясь столбами, пыль, рассыпался песок прибрежный с тихим шорохом в бухте дальней, вместе с плеском волны морской оставаясь в моём сознание, вызывая воспоминанья, на мгновенье сразив тоской, чтоб воспрянуть столь же мгновенно, поглядев на старые стены, услышав голоса вдали, чьи-то странные песнопенья, или каменные ступени вверх куда-то меня вели, – был я счастлив, и счастье это стало целой лавиной света, нет, сиянием впереди, и души поднимало крылья, оставаясь целебной бьюлю, и сжимало сердце в груди, и вставали ночами звёзды над землёю, и птичьи гнёзда создавались, из края в край принося повсеместный щебет, лепет губ на заре и трепет слов, и буйство пернатых стай, и цвели хризантемы, или всюду розы с шипами были провозвестницами вестей о таком, что забыть не в силах, что откликнулось кровью в жилах на пороге людских страстей...

В долгий, сложный период скитаний я воочию убедился в том, что я пишу – не напрасно, что стихи мои – людям нужны.

Было столькое видано мною, что казалось это – войною, многолетней, затяжной, на просторах моей страны.

То с разбитою головою, то затравленный, волком воя, не в ладах с пустою молвою, поднимался я из невзгод.

Сквозь утраты и сквозь обиды, нищий, битый, выдавший виды и срывавший покров Изида с тайн, вставал я и шёл вперёд.

С голодухи мои виденья и бессонные сплошь раденья то сгущались единой тенью, то дробились, роясь вблизи.

С каждым шагом и с каждым взглядом продолжалась борьба с распадом, и казался мне сущим адом на пути поворот стези.

Дом родительский был спасеньем, он единственным стал везеньем, слов не сдавшихся воскресеньем, чувств хранилищем, навсегда.

Осень, лето, весна с зимою над мирскою цвели чумою, над бессмыслицею немою, вместе с речью, не без труда.

С начала шестидесятых немалое, или, вернее, внушительное число любителей и ценителей поэзии собирали, по частям, по листочкам, каждую мою, рукою моею сделанную почеркушку, всякий мною написанный текст, и порой не где-нибудь, скажем, в музее Литературном, что было тогда невозможным, для меня, да и для музея, и вовсе не у меня под рукою, среди моих многострадальных бумаг, но именно там, у них, находилось то, что нередко мною среди бездомниц, – в силу множества обстоятельств, представляющихся сейчас даже мне, пережившему всё это, фантастическими, чудовищными, небывалыми, зазеркальными и такими даже, в которых выживал я поистине чудом, но, однако же, выживал, восставал из всего, что мешало, что давно уже тяготило, от чего приходилось часто уходить а то и бежать, чтобы где-нибудь там, в глуши, в одиночестве и покое, пусть и временном, и – на воле, что бывала тогда едва ли не важнейшим условием жизни, многотрудной и многогранной, с Божьей помощью, отдышавшись в тишине и в тепле, воспрянув, прозревая, работать снова, – постоянно терялось или забывалось где-то, а то и кое-кем потихоньку растаскивалось, так, на всякий пожарный случай, впрок, – а вдруг потом пригодится? – или даже уничтожалось, из боязни, из вечного страха, чтоб спокойнее жить, такими, что играли только в своих, а на деле были чужими, потому-то так относились и к бумагам, у них однажды мной оставленным на хранение, и к рисункам, и даже к вещам, – и развеивалось годами мною созданное – с ветрами, просквозившими душу, всюду, где придётся, по белу свету, разбазаривалось, воровалось, исчезало, уничтожалось, на помойки тайком выносилось, в клочья мелкие ночью рвалось, торопливо в огне сжигалось, и горело, – да не сгорало! – возвращаясь ко мне – сквозь время – сбережённое, сквозь невзгоды, золотыми, видать, людьми.

Позже мне, как и многим другим современникам, литераторам, издававшимся редко или же находившимся в чёрных списках, то есть вовсе не издававшихся на родине, приходилось, чтобы кормить семью и не казаться властям праздным, что-то там пишушим, в стол в основном, тунейдцем, которого все считали почему-то, в божемной среде, и давно, серьёзным поэтом, что никак не могло убедить в этом тех, кто жили по правилам общепринятым, твёрдым, советским, по каким-то странным понятиям, с директивами и приказами, со шкалою своих, по указке, продиктованных сверху, ценностей, зарабатывать, честно, упорно, как говорилось раньше, в поте лица, на хлеб переводами разливанной, как море, необозримой, расцветшей в любом ауле, в любом кишлаке, в горах, в долинах, в лесах, в степях, в пустынях и в городах, разноязычной поэзии народов СССР, – переводил я очень хорошо, это быстро поняли, – и в итоге образовалась почему-то целая очередь поэтов, декоративных, в основном, но порой и хороших, из союзных республик, жаждущих, чтобы книги их перевёл именно я, только я, непременно – я, и никто другой, вот ведь как, – но к началу девяностых годов, неожиданно для желающих, переводить я, сознательно, прекратил, – пусть и вышло к этому времени уже вроде и вдосталь сборников разных авторов, пере-

ведённых мною, столько труда и нервов, из упрямства, на это затратившим, из желания – сделать получше, а вернее всего – по-своему, дать дыханье чужим словам, сделать так, чтобы жили они в речи русской, чтобы звучали и для русского слуха – славно, чтобы лад в них возник певучий, ну а с ладом – и ясный свет.

С восемьдесят седьмого по восемьдесят девятый год, в кои-то веки, так я скажу, вздохнув грустно и вспомнив долгий, слишком уж затянувшийся, период, когда меня, человека, это уж точно, совершенно аполитичного, живущего только поэзией, только искусством, на родине, мною любимой с детства горячо, вообще не печатали, вышли три мои небольшие, очень скромные, книжки стихов, урезанные донельзя и старательно изуродованные имевшей и в пору бурной, на первый взгляд, перестройки в отечестве нашем, бывшем, вполне законное место и бесчисленные разветвления, по издательствам, и редакциям, и везде, вообще, где следовало цепкий глаз внедрять, для порядка, да ухо держать остро, во избежание всяческих нежелательных отклонений от верного курса, цензурой, и они, эти книжки, вышедшие, наконец-то, казалось многим, но на деле с таким запозданием, преизрядным, не по летам, никакой мне особой радости, разумеется, не принесли.

Груз написанного за несколько полнокровных, в порыве, в полёте, в неизменном движении, вверх, вглубь, и ввысь, и вперёд, к открытиям и прозрениям, в стихии речи, в сонме тайн и гармоний новых, щедрых творческих десятилетий тяготил меня и томил.

Это, к чести их, понимали некоторые мои, надёжные, настоящие, проверенные на прочность, как любили мы говорить меж собою порой, друзья.

Они настояли, буквально, заметьте себе, настояли на издании книг моих, многих книг, в их подлинном виде.

В книгопечатании, вот что важно, как раз к началу девяностых произошли радикальные изменения.

Похоже было на то, что начиналось повсюду, по городам и весям, всеобщее просветление.

То, что ранее напечатать было попросту невозможно, теперь почему-то стало возможным. Вот чудеса!

Смилостивились, наверное, глядя на нас тревожно и участливо, с пониманием, высокие небеса.

Друзья, да ещё и отзывчивые издательские работники, спасибо им, добрым людям, всем, помогли мне издать, одну за другой, небольшим тиражом, так уж вышло, девять книг стихов моих, девять книг, значительных по объёму.

Вернее будет сказать так: это – семь томов стихов моих, в девяти, чередою вышедших, книгах.

Вот названия их, по моей хронологии, начиная с шестьдесят четвёртого, вслед за которым пришло время СМОГа и другие, хоть и тяжёлые, но крылатые времена для меня: «Путешествия памяти Рембо» (в двух книгах, поскольку только так издать удалось), «Возвращения», «Отзвуки праздников», «Ночное окно в окне», том в твёрдой обложке «Звезда островитян», и написанные в девяностых «Скифские хроники»

и «Здесь и повсюду» (в двух книгах, крохотным тиражом, не в Москве уже, а в Кривом Роге).

Книги мои – недаром был я уверен в этом ещё в молодые годы свои, молодые, Боже, то есть давным-давно, знал, что когда-нибудь так всё в итоге и будет – к читателям сами пришли.

Читатели же мои – ждали их, терпеливо, надеясь, отчасти на чудо, но больше на справедливость космического порядка скорее, чем на бравурные изменения в жизни общества и строя, тоже давно.

Множество добрых, серьёзных, важных, полезных отзывов, разных, устных и письменных, было на эти книги – от настоящих моих, живущих кто где, и в России, и в прочих, сплошь зарубежных, вот как нынче вышло, читателей.

Кроме кое-каких, урезанных, по привычке, или сознательно, так, на всякий случай, редакциями, воробыного носа короче, небольших заметок в газетах, никаких статей и рецензий – ничего – о книгах моих – к удивлению и досаде настоящих моих читателей, поначалу лишь огорчавшихся, а потом, постепенно, ставших кое-что понимать, а позже – наконец-то и прозревать, – в периодике нашей, донельзя переполненной новостями на все случаи жизни, дорвавшейся наконец до желанной свободы, многогласной и смелой, не было.

Всё это показательно, даже больше, закономерно, именно в наши дни, в переходное, промежуточное, торопливое время, сейчас, когда, как обычно я говорю со вздохом, не то что понимания, но и внимания, человеческого, простого, в кутерьме сплошной, в суете, в толкотне пустой, в маете, в разобщении, не дождёшься.

И в который уж раз, сознательно, чтобы поняли, что к чему, чтобы в корень глядели, чтобы научились видеть и слышать нити, тропы и струны времени, повторяю я – зрящий, слышащий, – то ли новью земною днешней, то ли кровью людской кромешной, то ли явью, почти нездешней, отзывающиеся слова: не случайно, совсем не случайно самое что ни на есть распространённое ныне выражение – без лица, без нутра, без голоса, – «как бы».

Как бы время. Как бы свобода.

И так далее. Вот она, мгла! –

в маске – встала над мутной водою,

обернулась – разрухой, бедою.

Что – в пространстве, под смутной звездой?

Пепел, угли, смола да зола.

Да столетье – родное, седое.

Да разброд. Рубежи – чередою.

Да сиянье – вдали – золотое.

Да остаток земного тепла.

Начиная со знаменательного, для меня, а может, и знакового, девяносто первого года, живу я, став поневоле затворником, даже отшельником, так привыкли считать, ну и ладно, пусть считают, не всё ли равно, мне-то что, в основном в Коктебеле.

В Москве, из которой стремительно и едва ли не навсегда, на глазах у всех, на виду, в какую-то эмиграцию запредельную, что ли, куда-то в Зазеркалье, как можно дальше, уходит, махнув рукою на прощанье, высокий дух, оставляя всех нас в сиротстве новоявленном, непривычном, страшноватом для душ, лишённых прежних крыл, я бываю редко.

Так редко, что проще, пожалуй, сказать: почти не бываю.

Обстоятельство это дало подходящий, удобный повод моему знакомому давнему, поэту, весьма известному, Жене Рейну, как-то, наверное, не без умысла, скрытого слишком примитивно, под настроение, что возможно вполне, заявить, и не где-нибудь вдалеке, но, представьте, здесь же, поблизости от меня, у нас, в Коктебеле, то есть буквально в нескольких, всего-то, шагах от меня, – говорю об этом сейчас и ещё говорить намерен, потому что это – не шуточки, потому что это меня и задело, и даже ранило, потому что это иначе как безобразием и называть-то мне никак, поймите, нельзя, – так и есть, безобразие просто, безобразие, да и только, – показательно для «как бы времени», – а для Рейна – что же? – привычно? органично? в порядке вещей? – сомневаюсь, – да кто его знает, если так вот, вдруг, между прочим, преспокойно он мог заявить:

– Алейников исчез с литературного горизонта.

Я, конечно же, возмутился.

Даже в ярость пришёл тогда.

Что это за нелепые, необдуманые заявления?

Так, лишь бы брякнуть что-нибудь на людях, между прочим, вскользь, чтобы сразу поняли: всё-то он, Женя, знает?

Что это за всезнайство липовое? Зачем ему всё это? Да, к тому же, это ему не идёт.

Вроде бы, человек серьёзный, действительно знающий, литературу, положим, или кинематограф.

Импульсивный, понятно, мнительный, ревнивый, с кем не бывает, навёрстывающий упущенное, но хороший ведь человек.

Талантливый, даже очень. Чем же он озабочен? Тем, что давно с ним не виделись? Ну, возьми да в гости нагрянь.

А тут сам, зачем, неведомо, словно вполне осознанно, взял да провёл меж нами ненужную, острую грань.

«Исчез!» Подумать ведь только! Да ещё и «с литературного горизонта!» Ну и бредовое, выпретенное выражение!

Что-то со вкусом нынче, с точностью изъяснения у знакомых моих происходит. По верхам сплошное скольжение.

Никуда я не исчезал.

Только и делаю, что работаю да работаю.

Пишу, как и прежде, стихи, прозу, воспоминания.

Люди – мои читатели – сами ко мне приходят.

И книги мои – выходят.

Впрочем, несколько позже, со временем, которое, как утверждают издревле, действительно лечит, со временем, проясняющим изречённые мысли, дабы отчеканить их, по возможности, по способностям человеческим и потребностям, неминуемым, хоть единственный раз, в слова, тот же Рейн, уже с пафосом явным, и не только с пафосом, но и, как почудилось мне, с убеждённостью, даже больше – по-человечески, честно, искренне, ясно, просто, говорил, какой я великий – для него – человек и друг, да ещё – какой я великий, как он, Женя, считает, поэт.

Вот какие, увы, перепады, непредвиденные, с парадоксами, в построениях у знакомых и в самом выражении этих настроений загадочных, скачущих ртутным столбиком, – в слове – бывают!

Но это – ещё цветочки.

Ягодки – впереди.

Это просто-напросто меркнет перед вырвавшимся на волю из глубин души, где, возможно, даже в полдень были потёмки, озадаченным восклицанием другого, и тоже давнего, знакомого моего, ранее, в годы советские, – известного правозащитника, борца с режимом, упрямого, негибаемого, с характером, нынче – довольно известного российского, из лагерей вырвавшегося прозаика, Лёни Бородина, которому я однажды, году в девяносто четвёртом, припомнив былое, припомнив общение наше, хорошее, дружеское почти, в нелёгкие для обоих восьмидесятые, как-то, расчувствовавшись и сразу же, конечно же, разволновавшись, поскольку всё близко к сердцу принимаю, так уж устроен, разыскав среди старых записей поистёршийся номер его телефона домашнего, голос услышать захотев, узнать – как он, что с ним, здоров ли, пишет ли, издаёт ли теперь свою прозу? – взял да вдруг, по чутью, по наитью, как бывает всегда, позвонил.

Он с ходу воскликнул:

– А мне сказали, что ты умер!..

Вот уж, иначе не выразишься, поистине чудеса!

Ну, сказали тебе, допустим, да мало ли что говорят столичные безобразники, так, чего уж проще, возьми да позвони, спроси у близких моих, узнай сам, не с чужих, услышанных от кого-нибудь где-нибудь слов, где я, что со мной, лично, сам, удостоверься, что жив.

И такое, как видите, нынче, в годы мнимой нашей свободы и жестокого разобщения человеческого, бывает.

Ничего не поделаешь. «Редко, но бывает». Пора привыкать?

Но – к чему? К абсурду и бреду? И кого в этом нам упрекать?

Лишь одно меня утешает: не случайно, знать, говорят, что, согласно поверью старинному, если думают почему-то, что ты умер уже, это значит – долго будешь ещё ты жить.

Хорошо бы, коль откровенно говорить, пожить мне подольше.

Для того, чтобы сделать больше.

Чтобы замыслы – вон их сколько, и не счесть, поди, сразу – свои, как всегда – не как у людей, раз-два, и обчёлся, и хватит, нет, куда там, с размахом, с полётом, среди стихий, измерений, времён, и пространств, и тайн, и наитий, и открытий, среди гармоний, – максималистские, да, только так, и никак не иначе, искони, и навеки, в слове, в зрелых-то, это уж точно, своих, с трудами, столь нужными для души, привыкшей, давно уже, день за днём, упорно трудиться, летах находясь, воплотить.

Не случайно, ох, не случайно Чуковский Корней Иванович говорил, что в России писателю долго жить надо. Прав он. Теперь его стал и я наконец, прозревая, возмужав, погрузнев, понимать.

Долго – значит, не для безделья, не для прихотей, не для блажи, даже здесь, в глуши киммерийской, или, может, в прибрежном раю, где живу я, седой, бородатый, скиф, певец эпохи, треклятой и прекрасной, светом объятай сквозь туман, а для многих трудов.

Для того, чтоб дыхание речи, по возможности, в мире продлить.

Долго – стало быть, не в одиночестве, даже в горечи дней, а с Богом.

Как бы время рождает новые, в годы прежние невозможные, как бы правила, как бы надежды, как бы – вроде бы – отношения.

Увы, это вовсе не время, помнить надо, а междувременье.

Одной ногой – мы стоим в прошлом, другой – пытаемся шагнуть, шатаясь, вслепую, наугад, не упасть бы, в будущее.

Старые ориентиры – далеко позади, а новые – надо ещё разглядеть.

Привычное уединение и светлая сосредоточенность, пушкинские, подтверждённые опытом всем, оправданные каждым словом, покой и воля – вот что нужно мне, давно уже, с юных лет и доселе, всегда и везде, для работы моей.

Оттого я и в пору безвременья, при малейшей даже возможности, уезжал из Москвы и работал, в основном – в родительском доме, в Кривом Роге, на Украине, где я вырос, где почва моя, где истоки, где родина речи.

Теперь я живу годами в доме своём, у моря.

Всегда я мечтал об этом – и это всё же сбылось.

В нынешнем, какбывременном, грязноватом и неразборчивом в средствах при достижении цели, меркантильной обычно, хаосе участвовать я не желаю, брезгую, руки потом ведь не отмоешь, в него совасться незачем, нет, нельзя категорически, в нём гибельная закваска, болотная мешанина, – да, к тому же, мне просто некогда.

Мне идёт, как ни грустно такое вспоминать, как ни трудно об этом говорить, пусть нечасто, вкратце, как ни странно, восьмой десяток, и надо, в моём-то возрасте, ещё очень многое сделать.

Конечно, что есть, то есть, и факт остаётся фактом, ничего не поделаешь с этим, да и делать, если пошло на то, ничего не надо, нет в этом нужды никакой, мало ли что бывает на свете, в мире, с глобальным подходом к простым вещам, да и сложным, до кучи, понятиям, андеграунд – не весь, разумеется, частично, в отдельных случаях, весь-то вряд ли на это купится, потому что живы понятия, до сих пор, о долге и чести, о горении и призвании, и не стёрлась всё-таки память о великом братстве богемном, и не выжжены идеалы прежних лет железом калёным отношений нынешних, новых, с их тусовками и разборками, с их практичностью и циничностью, и непросто, с их непривычностью, нам навязанной, выживать, и приходится не сдаваться, монстров сонмам сопротивляться, – превратился в истеблишмент.

В любые ведь времена кто-то да продаётся, кто-нибудь да пристраивается поудобнее в этой жизни.

Велик и коварен соблазн остепениться, быть, дорвавшись до выгод и благ, вроде бы уважаемым.

Только – ну-ка признайтесь – кем? Липовыми почитателями?

Обществом? Каково это хвалёное общество?

Дух покидает нередко таких вот бывших соратников.

На смену былому горению – приходит жалкое тление.

Никого я не осуждаю, ибо каждому ведь своё, каждый волен, если приспичило, поступать, в наши дни, по-своему.

Нельзя – изменять себе.

Нельзя – выдавать, лукавая, желаемое за действительное.

Нельзя – хорохорясь, работать на потребу псевдокультуре.

В грядущем – «как слово наше отзовётся»? Вопрос – на века.

Ответа – не слышно. То-то и оно, как любят порою приговаривать люди простые, далёкие от искусства, но близкие, ближе некуда, к повседневности, к жизни, к яви.

В искусстве всегда должно быть – «то», а вовсе не «то-то».
На то оно и искусство.

Поневоле снова, с улыбкой, и со вздохом, вслед за улыбкой, и с прищуром грустным сегодняшним, вспоминаю один эпизод.

И ещё, при случае, вспомню.

Может, я говорил об этом где-нибудь? Ну и что с того?

Никакой это не повтор.

Это, прежде всего, – утверждение моей собственной, личной, позиции.

Однажды в ПЕН-клубе, где я, человек, далёкий от всяческой суеты, групповщины, казёнщины, канцелярщины, официальнойщины, состою, в числе разновозрастных, разномастных российских писателей и поэтов, бывших властителей дум и нынешних посетителей презентаций и премиальных церемоний, мои знакомые, почёсывая затылки облысевшие, протирая запотевшие в духоте, в толкотне, в болтовне, повальной, непотребной, стёкла очков, гадая, недоумевая, вопрошая обескураженно, почему это я, в недавнем сравнительно прошлом, такой, – несмотря на то, что меня, при советской власти, в отечестве четверть века не издавали, но потом-то, в свободной России, всё же вышли книги мои, их читают, их любят, ценят, – широко известный поэт, даже, можно сказать, знаменитый, ну, по-своему, да, но всё же, здесь, кого ни спроси, да припомнят, поднапрягшись, тряхнув стариною, непременно, строки мои, – затворником натуральным живу вдаль от Москвы, твердили мне, поднимая назидательно указательные заскорузлые пальцы свои, головами качая в такт, выразительно, укоризненно и сочувственно глядя в глаза или, чаще, куда-то глядя мимо глаз: надо быть на виду, надо, принято так сейчас тусоваться, иначе забудут, или, в лучшем случае, станут, все, так проще намного, и легче, и спокойней, считать блаженным.

И тогда, все доводы выслушав, я ответил знакомым так:

– Хорошо, считайте меня блаженным. Но тусоваться, вместе с вами, теряя время, просто некогда мне. Я работаю.

И знакомые отшатнулись от меня – и простёрли руки к небесам – и седые головы предо мной склонили они.

И смотрели мои знакомые на меня, как, наверное, смотрят на пришельца с другой планеты в их, с тусовочной практикой, дни.

Был навсегда закончен переговорный раунд.

Жить – не учили больше.

Это ли не андеграунд?

Спас ли, ежели громко, с пафосом неминуемым, об этом сказать, андеграунд, наш, разумеется, русский, вовсе не заграничный, лишь о нашем веду я речь, нашу, могучую, русскую, лишь о ней моё слово, культуру?

Да, он самый, такой-сякой, руганный-переруганный, обвиняемый ретроградами во всех возможных грехах, порицаемый, осуждаемый всеми, оптом, кому не лень, изучаемый с запозданием презрительным, и то по верхам, наобум, понаслышке, вслепую, прославляемый с осторожностью, уж как водится, задним числом, всё же помог ей выжить.

Предпринял ли он, андеграунд, отечественный, конечно, хоть когда-нибудь, определённые усилия для разрушения её, культуры отечественной, традиционного кода?

Разрушители были и есть, как известно, во все времена, при желании можно их счесть, но на деле-то грош им цена, а в будущем – лишь презрение наших, умных, надеюсь, потомков.

Важны всегда созидатели, их не так уж много, – но всё-таки они, созидатели, русскую культуру, в который уж раз, настрадавшись при жизни, спасли, продлили её дыхание.

Спросит кто-нибудь: каковы были – если такие были – отношения между нашим андеграундом и «публикующей» литературой, – шире, чтобы всё охватить, – искусством?

Традиционный вопрос.

Понимаю, что без него, лежащего на поверхности, встающего перед глазами у нынешних культурологов, – так теперь называют этих толкователей, подводящих базу некую под любое направление и движение, шаг, и жест, и шёпот, и крик, всё годится, был бы предмет для того, чтоб молотить языком, рассуждать о том да о сём, с умным видом, всё обосновывать, сочинять статьи, даже книги, притворяясь, что разбираются лучше всех они в месиве этом, – наподобие странного знака, из пространств ледяных Зодиака к нам, на Землю, порой слетающего, почему-то напоминающего то басовый ключ, то скрипичный, то какой-то штрих нетипичный, то, из надписи на заборе старом, буквы, известные всем, то фетиш, то дикарский тотем, то египетский иероглиф, вроде шахматного ферзя, то шуруп, – ну никак нельзя.

Говорить за других – не буду.

Полагаю, что сами они, хоть однажды, способны высказаться.

Посему – скажу о себе.

Начиная с давних времён, с шестьдесят второго ещё года, от официальных литераторов, от поэтов, широко известных тогда, в основном, в том числе и действительно хороших, и авангардных, по тогдашним, с восторженным тоном, в разговорах о них, торопливо, иногда, на глазок прикинутым восхищённой публикой, меркам, и советской ругательной критикой, словно в сказке, мгновенно, стремительно, до небесных, почти, высот, вознесённых, вроде Миколы Винграновского на Украине или сверхсовременного, левого, с молодецким задором, героя и звезды, на унылом фоне прочих, слишком традиционных, в большинстве своём, устаревших безнадежно, прежде всего для читающей и бунтующей, ждущей звёздных своих билетов, романтической молодёжи, к новизне устремлённой, Андрея Вознесенского, в притягательной для наивных провинциалов, на семи холмах своих вставшей посреди империи грозной, многобашенной, краснорезной, благосклонно стихам внимавшей, нам казалось тогда, Москве, да от всяких, не называть ведь всех подряд, слышал я когда-то о себе и своей поэзии в досталь очень хороших, лестных, а порой и самых высоких, выше некуда просто, слов.

Поэт, почитаемый мною, настоящий, знающий цену слову, Тарковский Арсений Александрович, не случайно, видимо, но со всей присущей ему серьёзностью, в любых своих, чётких, веских, сжатых, обдуманых фразах, репликах и суждениях, произносимых им твёрдо и независимо, в любых, где бы ни был он, даже вовсе не кабинетных, но почти фронтовых обстоятельствах, ещё в шестьдесят пятом и шестьдесят шестом годах, в период гонений на меня, по причине разгрома разгневанными властями легендарного нашего СМОГа, встав на мою защиту по собственному почину и проявив при этом небывалую силу духа, втолковывал официальной, чуждой ему совершенно, злобной,

жаждущей крови, писательской шатии-братии, что в стихах моих «каждая строчка гениальная», что меня следует не губить, а поддерживать и беречь.

На моём, для всех неожиданном, устроенном как-то спешно, по чьему-то, видать, указанию сверху, чтобы взглянуть на меня, заодно и послушав, что же там я пишу такое, что шум неумолчный вокруг меня и не думает угасать, но, скорее, наоборот, разрастается непрерывно, раздражая кое-кого, удивляя и озадачивая, да всё чаще, авторском вечере прямо в логове вражьем, в «гадюшнике», так его называли все мы в середине шестидесятых, то есть прямо в Центральном Доме литераторов, то есть тогда же, в отдалённые, уходящие постепенно в область преданий, в мифологию, озарённые молодую мою славой, незабвенные времена, в феврале шестьдесят шестого, те, кто слушали, как стихи свои всем собравшимся здесь читал я, то вздыхали от чувств нахлынувших, то слезу пускали украдкой, то, совсем не скрываясь, плакали, выражали бурно своё восхищение, и наиболее потрясённые ими услышанным почему-то упорно и слаженно, будто слова другого, попроще, не могли второпях подобрать, чередую, один за другим, называли меня «самородком», что, по их представлениям, видимо, представление всем давало о таланте моём, полновесном, и – каком же ещё? – золотом, называли – как обзывали, а казалось им – величали, – ну а некий особенно пылкий, возбуждённый, взъерошенный слушатель вдохновенно с места вскочил – и, рукой на меня указывая, как отрезав, громко, уверенно, зная дело, видать, со значением, с медью в голосе, с блеском в глазах, со слезою, впрямь различимую на его румяной щеке, огорчительно броско, актёрствуя, слишком прямолинейно, подчёркнуто и торжественно всем заявил:

– Кого мы, товарищи, видим перед собой сейчас? Мы видим, товарищи, нашего простого советского гения!..

И так бывало когда-то, встарь. И не только так.

По-всякому, так скажу я теперь, когда-то бывало.

Да мало ли что – если вспомнить хорошее – почему же не вспомнить хоть иногда об этом? – в прежние годы, во мгле бесчасья глухой, где жили мы все, и в годы, когда посветлее стало вокруг, – обо мне говорили?

Если даже десятка три в превосходной степени выдержанных, тех, давнишних, серьёзных высказываний – о стихах моих – исходящих от писателей официальных, здесь, в столбец, попробовать выписать, то займёт это всё, пожалуй, не один десяток страниц.

Для себя – ни выгод, ни благ никаких не извлёк я из этого.

Мне и в голову не приходило – что-то там, для себя, – извлекать.

Говорят – значит, так считают.

Ну и ладно. Пускай считают.

Это – личное – их – мнение.

Это – личные, их, – похвалы.

Мне же следует – двигаться дальше.

Мне же – надо просто работать.

Что и делал – в годы былые.

Чем и занят – в зрелых годах.

Мнение о моём творчестве сформировалось в бурный и ослепительно яркий период СМОГа.

Да так, почему – неведомо, не загадка ли это, в памяти некоторых современников, и остался я, это надо же, автором молодых своих писаний, стихов, которые они до сих пор не усвоили и не осознали, – что уж говорить, да и с кем говорить, о моих, недоступных, видимо, для сознания их, необычных, и по форме, и по содержанию, с максимальной, светлой, оправданной и единственно верной свободой в каждой фразе, полифонией, тяготением к синтезу, пластикой, речью, с музыкою в родстве, смелой ритмикой, долгим дыханием, по чутью, по наитью созданных, как всегда, позднейших писаниях?

Из писателей официальных толком никто никогда ничем – кроме добрых слов порою, сказанных искренне, а то и написанных даже, в письме, например, обнаруженном этак лет через двадцать, тридцать, случайно, когда бумаги уцелевшие я разбирал, – мне, беззаконной комете в кругу, расчисленном кем-то, разнообразных светил, сомнительных, тускловатых нередко, призрачных даже, как месяц дневной, фантомных, типичной белой вороне, заезжему странному гостю, пришельцу инопланетному в компаниях и группировках, везде, где свои понятия были о том да о сём, свои блюлись интересы, задачи житейские ставились и творческие свои, свои выдвигались лидеры, свои достигались цели и средства любые годились для этого, – не помог.

Да и я никогда ни к кому с просьбами о пристройстве текстов своих, со времён юности, не обращался.

Хоть куда-то? Лишь бы – в печать?

Лишь бы где-то – публиковаться?

Просить об этом – кого-то?

Зависеть – вдруг – от кого-то?

Нет. Не в моих это правилах.

Этика наша, тогдашняя, но, скорее всего, всегдашняя, не позволяла идти на поклон к неприятным людям, обивать пороги редакций, унижаться, обиды терпеть от чиновников и прощелыг, от разнузданных псевдоумников.

Чтобы тексты мои читались, попадали в хорошие руки, мне, в течение долгих лет, слишком долгих, так уж сложилось, по судьбе, что же делать, было достаточно самиздата.

Мне всегда была дорога независимость, ну а нынче, в дни таких испытаний на прочность, что подумаешь: Боже мой, ничего себе времена, и поди гадай, отрываясь от своих трудов постоянных, ненадолго, чтоб, отдышавшись и встряхнувшись, их продолжать, что труднее и что дороже, старина ль, где были мы вхожи в наших грёз и надежд чертоги, или то, что пришло в итоге и чертоги крушить принялось, и незнамо что началось, распоясалось, раскрутилось, расплодилось и раздробилось, разгулялось в лихом галопе, точно в детском калейдоскопе всех деталей цветастых рой, кто за этой стоит игрой, что встаёт впереди, в туманах, что в сплошных предстоит обманах отстоять, утвердить, сберечь, и чему же порукой речь, и кого же она спасает и по-прежнему не бросает, и откуда ветер такой над безмерной моей тоской, над бездонной морскою бездной поднимается, с мукой крестной, по старинке, накоротке, и откуда цветок в руке, хризантемы осенней ветка, и какая стезя нередко приведёт на порог печали, и зачем головой качали облетевшие тополя, и куда повернёт земля всех радений былых и встреч,

и зажгутся ли сонмы свеч в разобщиенье земном, где миг понимания столь велик, что с вселенной сравнялся вдруг, и разъялся незримый круг, и духовные нити вновь протянулись, и есть любовь, чтобы их на заре скрепить да криничную воду пить в глухомани моей, в тиши, что надёжнее для души, чем столичная кутерьма, и расцвет моего письма продолжается сквозь распад, раем сделав кромешный ад, чудом сделав окрестный бред, и целебный забрезжит свет впереди, за горами, там, где негаданных вдосталь драм, где трагедий и впрямь не счесть, где грядущего чую весть, благо явь с давних пор со мной, и прозренье придёт с весной, чтобы петь, словно в первый раз, в ясный полдень и в добрый час, – ничего себе времена, и какие встарь семена были брошены в почву нами, чтоб взошло над ростками пламя, и развеялось, и ушло, и расправленное крыло не обуглилось, и весло не сломалось на лодке где-то, и настало для мира лето просветления, после гроз, и сказал бы я всем всерьёз, что в единстве живём давно и в родстве с тем, что нам дано, и дорога сквозь век долга, – тем более дорога.

Разрешённая, официальная литература, и, в паре с нею, искусство, такое же, разрешённое, официальное, – и наша среда, в которой была, да и есть, и останется, наша литература и наше искусство – два разных, таких далёких, что дальше некуда, вроде, лагеря, – нет, если официальщину всякую называть можно сегодня лагерем, что вполне для неё годится, то нам, пожалуй, пристало имя другое – стан.

Стан – в этом нечто звёздное, раннее, но и позднее, дали, да небо грозное, воля, порыв, разбег.

Свет и полёт, горение, чувств и речей дарение, жизнь, вопреки старению, взгляд из-под влажных век.

Свечи в ночи, молчание, тёмных теней качание, долгое вновь прощание, ветер, уменье ждать.

Встреча в пути неожиданная, осень, пора туманная, верность, весна желанная, гордость и благодать.

Стан – это круг живой.

Сад с золотой листвою.

Стан: драгоценный сон.

Стан. Или, может, – стон?

Стан: отрицанье стен.

Стень. Или – кровь из вен.

Стан. И над ним – звезда.

Творческая среда.

Никогда не был я перебежчиком, никогда не пытался подладиться к чему-нибудь, чуждому мне, противоположному, неприятному, отвратительному, ненужному, ради мнимых каких-то выгод и дешёвых базарных льгот, в общей стадности, групповщине, по какой-нибудь там причине пребывать, от кого-то зависеть, изловчиться, как-то подстроиться – к чему и кому? зачем?

Одиночество – мне по нраву.

Я имею на это право.

В этом – доблесть моя. И слава.

Путь в грядущее. Насовсем.

Был всегда я сам по себе.
И за всё – спасибо судьбе.
Потому что она – моя.
Вместе с клеймами жития.
Образ времени. Голос. Речь.
Всё, что с детства сумел сберечь.
Всё, что создал – во мгле земной.
И поэтому Бог – со мной.

Литературоведам и нынешним искусствоведам, людям, с большим запозданием идущим за нами следом, всяким, и потолковее, и по верхам глядящим, чающим пустословия, с умничаньем скольльзящим, амбициозным часто, вот, мол, они зубасты, многого просто не знающим, что-нибудь вечно хающим, что-нибудь возвышающим, что-то за всех решающим, удобно сбивать нас в стаи, в какие-то группы, течения, вроде организаций общественных, с канцелярским, компьютерным и чернильным неистребимым душком, – так им проще намного, привычнее, так спокойнее, по традиции, устаревшей давно, замшелой, только нет им до этого дела, только что им чей-нибудь смелый взгляд на вещи, им недосуг разбираться во всём, что было, что дышало в полную силу, что наполнило кровью жилы, чьей новью светло вокруг, так, на всякий случай, надёжнее, так удобнее, прежде всего.

Но литературу, искусство и в былые года, и теперь, в наше с вами, вроде свободное от нелепых оков и запретов, от всего, что мешало дышать, петь, работать, рваться в пространство, познавать этот мир, в котором, слава Богу, все мы, земляне, современники и соратники дорогие, доселе живём, а на самом-то деле сложное, как и прежде, как и всегда, как и в будущем, полагаю, тоже будет когда-нибудь, время, создавали и создают – личности, единицы.

При любых обстоятельствах я, искони, всегда и везде, на юдольном пути, ведущем к заповедной звезде, стремился, восставая из бед упрямо, воскресая в огне, встречая новый день, словно дар небесный, оставаться самим собой.

Разрушению мира я противостою – словом.